

# ЧАЙНА МЪЕВИЛЪ



ПЕРЕПИСЧИК

fanzon



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- [Благодарности](#)



# Чайна Мьевиль

## Переписчик

China Miéville  
THIS CENSUS TAKER

Copyright © 2016 by China Miéville

Серия «Странная фантастика»

© К. Эбауэр, перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

\* \* \*

*Посвящается Мику*

*Как и все подобные  
вытянутые  
приземистые дома,  
этот строился не для  
кого-то, а против.  
Против леса, против  
моря, против стихий,  
против целого мира. В  
каждом имелись  
кровельные балки, двери  
и ненависть, как будто  
в этих краях она была  
одним из необходимых  
инструментов  
архитектора и тот  
говорил ученику: «Не*

забудь                      сегодня  
захватить с собой  
вдоволь ненависти».

*Джейн Гаскелл*

«Где-то в солнечном  
краю»

МАЛЬЧИК С КРИКАМИ НЕССЯ ПО ТРОПИНКЕ с холма. Этим мальчиком был я. Он выставил перед собой руки, словно окунул их в краску и собирался прижать к бумаге, нарисовать картинку, но вместо краски его покрывала грязь. Крови на ладонях не было.

Мальчик – думаю, лет девяти – бежал быстрее, чем когда-либо прежде, и спотыкался, и разгонялся, и раз за разом едва не падал на окружавшие тропинку камни и заросли утесника, но я удерживался на ногах и продолжал путь в тень своего холма. Воздух был влажный, но небо не обронило ни капли. Позади меня клубилась холодная пыль, впереди улепетывало прочь мелкое зверье.

Позже Сэмма сказала, что жители города увидели это облако задолго до моего появления. Убедившись, что это не просто ветер, она вместе с другими отправилась к водокачке за мостом на западе, к окраинным домам, дабы приглядеться поближе. С того дня при каждой встрече Сэмма по возможности рассказывала мне всякие истории, в том числе и о том, как я спускался с холма.

– Я знала, что это ты. Перемазанным чертом несешься с горы. Говорю им, это мальчик. И другие вторят. Пока я наблюдала, ты, должно быть, целую милю одолел, все бежал и бежал и ни разу не замедлился. Промчался мимо ногтей.

«Ногтями» я прозвал чахлые заросли белого кустарника, а Сэмма подхватила.

– Прямо из каждой трещины на холме – ты наверняка слышал, – как бесы воют на тебя из-под земли. – Когда она вот так говорила, я тарацился на нее молча и неотрывно. – Мы слышали, как ты приближаешься, вопя точно раненая чайка или вроде того, и я сказала: «Да, это мальчик!»

И я приближался. Свернул с тропинки там, где склон становился суше, каменистей и круче, и рванул к месту сбора толпы. Сверху я видел все пространство между самыми дальними стенами и городским мостом. От

судорожных рыданий меня вывернуло, и я побежал дальше, громкий, грязный, мимо проволочной фабрики и стекольного завода, мимо амбаров и магазинов, по земле перед ними, устланной старой соломой и черепками всякой всячины, разбитой внутри, прямо к булыжникам и бетону того самого моста, где ждали горожане.

Среди них были дети: те, кого крепко держали родители. А я надрывался, как младенец. Я пытался вдохнуть.

Я там единственный шевелился, все остальные лишь глазели на мою фигурку, поднимающую пыль, пока кто-то – не знаю кто – не устремился мне навстречу и остальные, устыдившись, не ринулись следом, включая Сэмму.

Они бежали, протягивая ко мне руки, как и я к ним.

– Смотрите! – воскликнул кто-то. – Боже, только взгляните на него!

Я поднял, как тогда думал, окровавленные ладони, чтобы их увидели все.

И закричал:

– Моя мать убила моего отца!

\* \* \*

Я из верховья. Выше нашего дома простирался только крутой участок с пучками травы и рыхлым грунтом, затем шли кремниевые плиты ступенями, будто корявый зиккурат, а дальше уже самый пик. И ни единой тропки. Выше нас на холме никто не жил. Хотя наш дом стоял примерно на том же уровне, что жилища нескольких наблюдателей за погодой, отшельников и ведьм, которых можно было назвать нашими соседями, но, чтобы добраться от нас до них, пришлось бы хорошенько прогуляться, и мы никогда к ним не навевывались, как и они к нам.

Каждый из трех этажей моего дома был в меньшей степени готовности, чем предыдущий, как будто строители теряли запал по мере отдаления от земли. На нижнем располагались кухня с гостиной, мастерская отца, коридор и угловая деревянная лестница. На среднем – две маленькие, наспех законченные спальни, отца и матери, и каморка между ними, где спал я.

И на верхнем этаже порывы что-либо разделить окончательно иссякли и осталось лишь единое пространство, по которому гулял сквозняк, проникающий сквозь недоделанные стены и щели между оконными рамами

и штукатуркой.

Мне нравилось взбираться по крутой лестнице и играть в одиночестве в этой полной ветра комнате. Все остальные стены в доме или побелили, или покрасили охрой из местной почвы, но две стены чердака оклеили обоями с повторяющимся узором. Переплетенные цветы и пагоды меня удивили. Я не мог вообразить, чтобы их выбрали мать с отцом. Я решил, что обои были там еще до появления родителей, и вдруг представил дом в те времена, без них, отчего горло сковали тошнота и волнение.

Лампочки и приборы, имевшиеся на кухне и в отцовской мастерской, черпали ток из генератора, который мы иногда включали. В спальнях мы использовали свечи. На окнах верхнего этажа не было занавесок, и каждый день свет пронизывал комнату, простираясь с одного конца в другой. Обои выцвели за годы тесного общения с солнцем. В одном из углов, низко-низко, решив, что там это останется секретом, я рисовал животных возле пагод и среди стеблей.

Дом мой стоял в конце тропы, вжимаясь в каменный выступ за спиной, будто испуганно пятился от бегущего вниз склона. Между домом и этим спуском протянулась ржавая проволочная ограда, из-за которой я наблюдал за животными – дикими кошками и собаками смешанных пород, даманами, скудным потомством сбежавших коз и овец, – что прогуливались и шныряли меж валунами и кустами. У кого-то из зверей была своя территория, которую я в конце концов узнавал. Узнавал, что посягаю на нее, а кто-то из них возвращался неоднократно, будто заинтригованный мною. Злющая желтовато-серая певчая птица, облюбовавшая определенные деревья. Или рыжая псина размером со щенка, но с настороженными повадками старой собаки.

Оттуда я мог различить черные городские крыши. Я пинал камни – маленькие, чтобы проскальзывали через металлические звенья, – и смотрел, как они скачут в заросли или дальше, до самого низа, как я представлял, в заполненный водой овраг под зданиями.

Город был разбросан по склонам двух холмов и мосту между ними. И, как и все на этих холмах, мы считались горожанами, хотя жили так далеко от улиц, насколько это возможно, чтобы все еще оставаться правдой. Городские законы распространялись и на нас тоже. Сбежав с холма в тот день, я не искал правосудия, но правосудие нашло меня.

**ЛЮДИ ГРУБОВАТО УТЕШАЛИ МЕНЯ.**

– Что ты видел, мальчик? – спрашивали они. – Что стряслось?

Я только и мог что рыдать.

– Твоя мама что-то сделала? – уточняла женщина, опустившись на колени и стискивая мои плечи. – Сделала что-то с твоим папой? Расскажи нам.

Она сбивала меня с толку. Пыталась поймать мой взгляд и сбивала с толку своими словами, потому как они мало походили на то, что я видел, чему стал свидетелем. И все же, когда она их произнесла, я понял, что она лишь повторяет сказанное мною. Мальчик, я, сказал, что его мать убила его отца.

До сих пор, думая о случившемся тогда в нашем доме, первым делом я вспоминаю мамины руки: лицо ее спокойно, взгляд резкий, пронзающий, а руки – с ножом – опускаются вниз жестко. Отец закрывает глаза, и рот его блестит, рот полон крови, кровь покрывает бледный цветочный узор на стенах, и мальчик должен все это осмыслить для начала, у меня нет выбора, я не могу об этом думать, и всякий раз требуется мгновение, чтобы все переварить и подготовиться к ответу. Дескать, нет, конечно, все случилось иначе, и лица пострадавшего я не видел, ну или что это точно был не мой отец.

Я пытался исправить то, что сказал, а женщина повторила, но мог лишь сглатывать.

Я слышал ритмичный звук. А когда поднялся на верхний этаж дома, где гулял сквозняк, там уже были люди. Женщина на мосту смотрела на меня, и я сосредоточился и понял, что нет, вряд ли я видел, как мама убивает отца. Я мысленно вернулся назад. Ее лицо, лицо моей матери, опустошенное и усталое, да, но если приглядеться – именно оно блестит. И не ее руки опускаются, а руки отца.

– Нет, – произнес я. – Мой отец. Кто-то. Мою мать.

Это отец стоял спиной ко мне. Превозмогая дрожь и перебои в дыхании, я сконцентрировался на этой мысли. Он держал кого-то. Я не мог вспомнить ее лицо.

Я смотрел на спину отца. Не на спину матери. И видел кровь, кровь, которую все еще представляю на своих руках. Мне она запомнилась очень яркой и при этом темной, потому что только-только попала под лучи света, в то время как окрашенные ею обои уже совсем выцвели.

Я кричал, пока отец не повернулся. Вот что я увидел: он задыхался от напряжения.

Он уставился на меня, и я сбежал.

ИНОГДА ПО УТРАМ МАМА УЧИЛА меня буквам и цифрам. У нее было немного книг, но она раскрывала передо мной одну из имеющихся,



садилась за стол напротив и, молча указывая на слова, ждала, пока я с горем пополам их произнесу. Она поправляла меня по необходимости и порой нетерпеливо подсказывала, озвучивая слова, с которыми я не справился. То был иной язык, не тот, на котором я пишу сейчас.

Моя мать была мускулистой женщиной с темной-серой кожей, что собиралась складками на лбу и вокруг глаз. Когда не возилась с землей, она оставляла свои длинные светлые волосы свободно обрамлять лицо. Я считал маму красавицей, но после ее смерти если кто и отзывался о ней кратко каким-нибудь прилагательным, то, как правило, использовал слово «сильная» – или, однажды, «статная».

В основном все мамины дела сводились к заботе о заросшей земле вокруг нашего дома. Она разделила этот покаты́й сад на вроде бы бесформенные участки, обозначив границы камнями. А заметив мое недоумение, пояснила, что следует линиям рельефа.

Мама собирала и высушивала принесенные ветром ветки и листву, чтобы позже скормить их очагу или генератору, когда нам понадобится электричество. У нее было платье для улицы, в котором она хранила разнообразные семена. Я тихонько сидел на одном из пригодных камней и наблюдал, как она тянется к своим многочисленным карманам, чтобы посеять пригоршню зерна во вскопанную землю. Меня ее случайный подход порой тревожил, на что мама только прохладно улыбалась.

Однажды она выпрямилась, оперлась на свою мотыгу и посмотрела прямо на меня:

– Прошлой ночью я фантазировала, как посажу здесь кусочки мусора и буду поливать их, растить. Выращу свалку. И под «фантазировала» я подразумеваю «мечтала», а не «видела сон».

Мама скручивала страшноватые фигурки из проволоки и дерева и расставляла их вокруг, дабы отпугивать птиц. Отец тоже такие мастерил, у него они были поприятнее, но что тех, что других вороны не особо-то боялись, и нам с мамой частенько приходилось выбегать из дома, размахивая руками и вопя, и большие птицы хоть на время оставляли семена в покое – впрочем, скорее не испуганно, а с ленивым презрением.

В этой тонкой пыльной почве мама умудрялась вырастить гибриды и диковинки, а также бобы, тыквы и прочее. Кое-что мы съедали, кое-что она продавала или обменивала на разные вещицы у владельцев магазинов на мосту или в городе. Остальное она меняла на новые семена, которые вновь опускала в землю.

\* \* \*

В основном мы не покидали свой участок, как и все, кто обитал над городом: тропинка под нами и все колеи разрезали холм поперек, от одной высокой точки к другой, и осторожно петляли, дабы излишне не приблизиться к любому из жилищ. Да, иногда, очень редко, чуть повзрослев и ощутив некую потребность в непослушании, потребность исполнить какой-то долг, я мог долго брести по нашему суровому краю и близко подобраться к другому жителю верховья, поселившемуся чуть ниже. И наблюдать из укрытия кустов, смотреть на сгорбленных женщин, сестер, что разводят в сарае свиней, или на жилистого мужичка, который в собственном дворе, не видимом со второго холма, четко выполняет свои задачи: калибрует датчики старых машин и смазывает маслом их подвижные части. Эти другие дома очень походили на мой, вызывая смутное подозрение, будто они – слова для этой мысли я подобрал много позже – из одного набора.

Считалось, что от нашей двери до святой старухи или человека, живущего в пещере, не более часа ходьбы, и я помню, как однажды увидел мелькнувший коричневый плащ, будто кто простыней встряхнул, но была ли та ткань наброшена на костлявые плечи, я не знал. Даже не мог сказать, действительно ли это видел.

С тех пор я наблюдал за настоящими аскетами, как они смиряют плоть, в каких берлогах живут, и теперь знаю, что тогда видел фальшивого отшельника. Если вообще что-то видел. Если было что видеть.

Чаще всего наши ближайшие соседи выдавали свое существование дымом от костров, когда готовили еду или сжигали мусор. Мы от своего избавлялись иначе.

**МОЙ ОТЕЦ БЫЛ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ**, бледным и словно вечно перепуганным и двигался рывками, как будто опасался попасться. Он делал ключи. Заказчики стекались к нему из города и просили то, что обычно просят люди, – любви, денег, что-то открыть, узнать будущее, вылечить животных, починить вещи, стать сильнее, заставить кого-то страдать, спасти кого-то, научиться летать, – и отец воплощал это в ключах.

Меня во время его встреч с клиентами выставляли из дома, но я частенько прокрадывался через двор и сидел под окнами мастерской, подслушивая и даже подглядывая. Копавшаяся в земле мама с волосами, укрытыми желтым шарфом – самой яркой вещицей, что я когда-либо на ней

видел, – не раз замечала, как я съеживаюсь у окна, но никогда не пыталась помешать.

Пока люди сбивчиво вещали о своих нуждах, отец делал заметки. На грубой коричневой бумаге графитом или чернилами он набрасывал контур зубцов и ложбинок ключа и по мере рассказа вносил исправления. Проводив клиента, он порой часами рисовал, почти всегда заканчивая заказ за один присест, даже если это означало работу до рассвета.

На следующий день отец запускал генератор, возвращался в мастерскую, прищипливал готовый рисунок к столу и, зажав в тисках металлическую рейку, медленно и осторожно, часто останавливаясь, чтобы свериться с изображением, разрезал ее визжащим электрическим лезвием, отчего лампы на первом этаже на каждые несколько секунд разреза тускнели. Или ручными пилами с натянутой стальной проволокой, к которым мне тоже запрещалось прикасаться. Несмотря на худощавость, отец был сильным. Он отсекал, создавая форму.

За верстаком он держал стеклянные банки с горстями разномастной пыли. Были там и насыщенные цвета, но в основном – разные оттенки коричневого и серого. Отец погружал пальцы в одну из банок за раз и натирал готовый ключ, полировал его порошком и собственным потом. Я никогда не видел, чтобы он пополнял сосуды – пыли уходило совсем чуть-чуть.

Работа выматывала его куда сильнее, чем могло показаться. Закончив, он поднимал свое творение, очищал, задумчиво разглядывал. Ключ сиял, а отец был покрыт грязью.

Несколько дней спустя заказчики возвращались за тем, за что заплатили – хотя в основном не оловянными и бумажными городскими деньгами, которые в нашем доме водились редко. Иногда отец сам спускался и относил ключи. Я никогда не видел одного клиента дважды.

Когда мама готовила, она почти всегда молчала, полагаю, мысленно планируя свой сад. Она и не искала, и не избегала моего взгляда. Когда же ужином занимался отец, он расхаживал по крохотной кухне, передавал мне продукты и улыбался, словно старался вспомнить, как это делается. Он нетерпеливо глядел на нас с мамой – она не смотрела в ответ, а я смотрел, хоть и тоже без слов, – и пытался расспрашивать нас о всяком и рассказывать нам истории.

\* \* \*

– Лучше всего жить здесь, – как-то сказал мне отец, – где воздух хороший, прозрачный, не слишком тяжелый. Внизу такого не найдешь.

Обрывочное воспоминание. Тогда он сообщил, что мы вместе спускаемся с холма по поручению, которое я уже забыл. Я еще не осознавал, но мы с отцом редко оставались вот так, один на один, мама всегда маячила на периферии большинства наших взаимодействий. Я гулял сам по себе, впрочем, она мне не мешала, как и он, и иногда, заметив отца, мог даже пойти следом, хоть и старался не попадаться ему на глаза.

В иные дни кое-что побольше и замысловатее птиц проносилось над нами в этом прозрачном воздухе – шумно, суетливо, слишком высоко, чтобы как следует рассмотреть. Если в этот момент я попадался отцу на глаза, он снова пытался улыбаться и, казалось, хотел что-то объяснить, но объяснений ни разу не последовало.

Я рос под постоянными горными ветрами, что шептались со мной и трепали мою темную челку. За их голосами слышались слабые случайные вскрики животных и рокот упавших камней. Иногда доносился шум двигателя или треск далеких выстрелов.

Я сталкивался с отцовской яростью еще до убийства, когда его и мамино лица слились для меня воедино. Я называю это «яростью», но в те моменты он был невозмутим и неподвижен и выглядел так, будто отвлекся и глубоко задумался.

Когда мне было семь, он на моих глазах убил собаку. Не нашу. Мы никогда не заводили живность.

Я прохлаждался в мамином саду, взобравшись на распутившееся дерево с торчащими из земли спутанными корнями. Помню, что день был едко-яркий. И помню, как «что-то» разглядывало меня, а потом устремлялось вдаль, к границам плоского чистого неба. Вот он я: мальчик, что поглаживает листья, не зная, где его мать, и наблюдая за отцом.

Мужчина сидел и курил на выступе ниже. Не подозревая о соглядатае.

Маленькая рыжая псина появилась из ниоткуда или же спустилась сверху. Жила она, полагаю, как и прочие брошенные полудикие животные на холме, воровством, попрошайничеством, удачными находками и охотой.

Она приблизилась к моему отцу и раболепно припала к земле с нерешительной надеждой. Отец не шелохнулся, сигарета его наполовину истлела.

Собака зигзагами, осторожно ступая меж камнями, подошла еще ближе. Мужчина протянул руку, и животное замерло, но он потер большим и указательным пальцами, и собака, принюхавшись, вновь поползла вперед. Она облизала человеку ладонь, а тот схватил ее за шкуру. Псина

брыкалась, но не сильно: мужчина знал, как держать, чтобы она не паниковала.

Он потушил сигарету о камень. Затем оглядел его, но, неудовлетворенный, решил найти другой, получше. Наблюдавший за всем мальчик задрожал под порывом ветра. Собственное сердце будто било его изнутри. Отец мальчика осмотрелся.

Я знал, что он собирается сделать. Это первое воспоминание о том, как отец кого-либо убивает, но я помню, с какой уверенностью за ним наблюдал. Непокколебимой, так что теперь гадаю, вдруг и до того случались подобные акты жестокости, о которых позже я просто позабыл.

Мужчина высоко поднял выбранный кусок кремния и ударил им собаку. Опустил камень ей на голову, и псина даже не гавкнула. Он бил ее снова и снова, а мальчик вжимался в дерево и смотрел, прикрывая рот дрожащей рукой, чтобы не издать ни звука. Как собака. У моих пальцев был привкус смолы.

Закончив, отец поднялся и оглядел долину. Стояло холодное лето, все вокруг зеленело – за густой листвой было не видать ни реки, ни глубокой расщелины под городом, ни даже моста. С болтающейся в руке мертвой псиной отец побрел вверх по склону.

Я умирал от ужаса, но, когда он скрылся за поворотом, все же слез с дерева и пошел следом, таясь и дожидаясь, пока отец снова не покажется в поле зрения. Показался, но меня не увидел. Он шагал на запад, а я полз следом, прячась за выступами, в кустах и рытвинах. Я двигался за отцом извилистой тропой, точнее, тропы там как раз не было, но он явно уже ходил этим путем раньше. Собачий хвост волочился по земле.

Отец потревожил канюков. Медленно взлетев, они закружили над ним.

Мы поднялись к зеву пещеры, не видимому от нашего дома и с дороги. Я никогда раньше не приходил сюда с этой стороны, потому удивился открывшемуся зрелищу, но пещеру узнал. Я не должен был гулять здесь без родителей и все же иногда гулял.

Перед входом, словно низкий забор, растянулся странный ровный ряд острых каменных зубцов, и когда мать с отцом брали меня с собой, то всегда подбадривали, прежде чем сами переступали через эту грань. Затем поворачивали ручку неизменного фонарика, и оранжевый свет озарял туннель. Но даже без света, даже когда прибегал сюда один и не осмеливался заходить далеко, я видел яму.

В компании родителей я продвигался вперед медленно, нащупывая дорогу палкой или пальцами ног, словно каменный пол был полон ловушек. Или полз на четвереньках, перед каждым движением трогая землю

ладонями, точно черный провал мог напасть на меня из засады.

В этот раз я цеплялся за иссеченный ветром пенек и наблюдал, как отец шагает внутрь холма. Я был достаточно близко и видел, как он застыл, глядя в нашу мусорную яму.

Она пересекала туннель, но дальше, за провалом, в темноте он продолжался. Отец включил фонарь, и слабый луч озарил для меня длинный коридор. Трещина была метра два в ширину.

Каждые три-четыре дня, всю мою жизнь, родители притаскивали сюда наши мешки и коробки с мусором и скидывали их в эту дыру. Отец иногда позволял помогать и держал меня, пока я бросал что-нибудь вниз. Можно было услышать, как бионеразлагаемые отходы, пластиковые упаковки (утяжеленные камнями и костями), битое стекло и всякий бытовой мусор, который мы не могли повторно использовать, врезаются в отвесную стену, отскакивают, разламываются на куски и падают в тишину. И никакого звука соприкосновения с дном.

Провал всегда пестрел пятнами – остатки пищи, которые мать решила не пускать на удобрение сада, в полете размазывались по камню. И пока родители избавлялись от мусора, я вжимался в стену пещеры, охваченный и замороженный страхом, оттого что воображал, будто могу по краешку перебраться через дыру и отправиться дальше в глубь холма.

Отец стоял у самого обрыва. Он долго всматривался вниз, в черноту, затем отвел руку назад, качнул вперед и разжал пальцы, так что мертвая собака взмыла над мусорной ямой, на миг замерла в воздухе и устремилась вниз по дуге настолько идеальной, будто для этого все и затевалось.

Собака родилась, чтобы упасть. Камень миллионы лет назад раскололся, чтобы принять ее.

Мой отец смотрел вниз так сосредоточенно, словно совершил все это, словно убил, потому что должен был увидеть падение животного.

**ОН МОГ ЗАМЕТИТЬ МЕНЯ ЗА СВОЕЙ СПИНОЙ** на обратном пути, но вряд ли заметил. Конечно, я очень старался держаться подальше... хотя позже понял, что, наверное, даже если б не удалось, ничего бы не изменилось. На дрожащих от слабости ногах я шел за отцом, ибо это казалось не так страшно, как остаться в одиночестве на холме, рядом с мусорной ямой и мертвой псиной, когда солнце сядет.

Идти за отцом на кухню не хотелось, но на улице похолодало, и в дом вела единственная дверь, и у нас не было сарая или амбара, чтобы там спрятаться, а бетонный корпус генератора оказался слишком тесным, без единой щелки, куда я мог бы втиснуться. Оставалась только туалетная

будка, где меня бы обязательно нашли. В закатном свете я замер на краю сада, да так и стоял, точно пустившее корни дерево. Я смотрел на дом, на вечернее солнце, озаряющее чердачное окно, и не слышал ничего, кроме собственного дыхания и ветра. А потом сумерки загнали меня к ожидавшим отцу и матери.

Я промчался мимо них, задержав дыхание и не поднимая взгляда, и взобрался на чердак, в угол к своим рисункам. И пристально рассматривал их, изучал, пока окончательно не стемнело.

Выманил меня отец, сказав, что пора ужинать. Пришлось с ним встретиться. Пришлось пройти мимо него по лестнице. Внизу за столом сидела мама, прикрыв глаза и чуть запрокинув голову, чтобы видеть меня даже на возвышении. Она смотрела на меня с мрачным спокойствием, и теперь я думаю, что это была хорошо замаскированная тревога.

ВСЕ ВОКРУГ СЛОВНО ВЫМЕРЛО, но надо мной в светящемся кольце люстры парит ошалевшая от холода оса. Она падает и вновь взлетает зигзагами в сопровождении верного конвоя теневых ос, который то рассеивается, то сходится на потолке в идеальный строй. Одна лампочка разбита, потому тени не окружают вялую осу-первоисточник, а будто обходят ее по флангу, чтобы вырваться вперед и показать дорогу.

Никак не заставлю себя убить насекомое.

Оказавшись в этой комнате, я сразу переместил стол к окну, чтобы писать как сейчас – наблюдая, как город погружается во мрак и переключается на неон. Я здесь почетный гость, потому два охранника за дверью стерегут мой покой, пока я работаю. По крайней мере, так сказали принявшие меня хозяева, столь вежливо и убежденно, что я задумался, верят ли они сами в свои слова.

Я тружусь уже много часов. Охранники там, наверное, уснули, убаюканные звуками из комнаты. То ли еще будет.

По-прежнему пахнет дымом. Я тяну время. Пока не стемнело, я провел крошечный опрос отсутствующих: четверо за меня (я записал *«видела море; резал металл; украл отмененный приказ; крутил петли на веревке»*) и еще одна, может, за меня, а может, и против – моя предшественница. Я сжег список.

Это моя вторая книга.

Первую я начал три года назад, в далекой стране, а третью годом позже. Наконец пришла пора начать писать вторую.

– Рождай только то, что прочтут, – сказал мне управляющий. – Каждое записанное слово записано, чтобы быть прочтенным, а если его не прочли,

то это провал, неудача. Такие слова как гусеницы, погибшие до преобразования. У тебя будет три книги.

Итак, моя первая книга – книга чисел. Списки и расчеты, и для наибольшей эффективности я записываю их шифрами. Есть множество коротких обозначений, и теперь, зная их все, я больше себя не проверяю. Знаками можно записать все: килограмм и тонну, вдову, типографа, поколение, вора, есть знаки для валюты, верфи, доктора, неопределенности и чтобы отмечать неясные моменты, к которым я должен вернуться. Первая книга – для всех, хотя никто не хочет ее читать или просто не знает как.

Третья из трех моих книг – для меня.

– Одну читай только сам, – так сказал мне управляющий. – Записывай в нее секреты. Но ты никогда не уверишься наверняка, что больше никто ее не прочтет. Это риск, и именно в нем суть третьей книги.

Предупреждая меня, он поднял палец, будто считал до одного.

Еще он сказал:

– Ты напишешь ее не потому, что ее никто не сможет найти, а потому, что, не написав, заплатишь слишком дорого. А если вдруг когда-нибудь найдешь чужую третью книгу, сам решай, как поступить. Можешь и прочесть, но нужды в том нет. Для тебя там ничего не будет. Если бы я такую нашел, то сжег бы ее, но читать бы не стал и тебе бы не отдал. А вот попадись мне чья-то вторая книга... что ж, конечно, я бы поделился с тобой. Вторая книга для читателей. Только никогда не угадаешь, когда они появятся и появятся ли. Эта книга для историй, в ней нет места шифрам. Впрочем, – управляющий вновь поднял палец, привлекая все мое внимание, – в ней ты также можешь делиться секретами и оставлять послания. Можешь говорить открыто, а можешь прятать их в словах и буквах, в порядке строк, в композиции и ритмах.

Он сказал, что вторая книга – это спектакль.

Моя третья книга – блокнот, который помещается в руке. Он уже на четверть заполнен мелкими символами, хранящими мои секреты.

Первая книга – наш общий с управляющим гроссбух, куда мы вносим рабочие расчеты. Порой мы вкладываем меж страниц новые листы с дополнениями и правками.

Моя вторая книга – коробка с бумагами.

– Пиши, как хочется. Называй себя «я», «он», «она», «мы», «они» или «вы», и ты не солжешь, хотя можешь рассказывать две истории сразу. Унаследуй от кого-нибудь вторую книгу, чтобы ее продолжить, и побеседуй с тем, кто уже оставил в ней свой след. Пиши обрывками и на полях.



Да, здесь есть бумаги с тех времен, когда эта история была начата. Немной.

*«Сегодня мы увидели большого зверя, никого громаднее я еще не встречала, – прочел я в письмах кого-то очень юного, и по этим частям мира, оставленного мне моей рано развившейся предшественницей, я выучил ее родной язык лучше, чем свой, по крайней мере, письменный. – Пока мы путешествуем, я учусь».*

Есть и другие фрагменты: впечатления серьезного ребенка; разрозненные сцены некоего сказания, которое невозможно восстановить; обрывочные описания, и некоторые со мной с тех пор, как я сумел их прочесть, к ним я все время возвращаюсь... *«На воздушной железной дороге живут потрепанные люди, у них улиточки глаза; вода в этих краях вязкая».*

По словам управляющего, прежде чем записи стали моими, большая часть была потеряна. Я сравнил эту книгу с первой, пролистав от конца до начала в поисках статистики упомянутого города с вязкой водой или людей на воздушной дороге. Я гадал, можем ли мы вернуться в одно из этих мест, чтобы я проверил детали и все классифицировал, но как раз этого делать было не нужно. И все же порой края, в которых мы оказывались, возвращали меня к фразам из записей предшественников: кремниевый свод перекликался с описанием *«луноподобного серого здания»*, а длинные дома на сваях напоминали *«не ронять вещи в грязь»*. Словно босс иногда вел меня по проторенному пути – по рассеянности или потому что работа не завершена, – и однажды мы все же доберемся до вздыбившихся позабытых рельсов, где живут изгои.

Из ранних записей второй книги предпоследняя – их легко отличить по более строгому и взрослому почерку – это примечания к катехизису. Я точно знаю, потому как там есть заголовок: *«Примечания к моему катехизису»*.

*«Надежда»*, – сказано там. Затем перечеркнуто, и что же это была за надежда? Потом написано *«Ненависть»* и вновь перечеркнуто. А потом все заново, и автор собирает слова в чудные четкие строки и заботливо, будто младенца, преподносит читателю.

*«Надежда Такова, —*

гласит катехизис, и тут же: —

*Подсчитай Весь Народ. Раздели По Группам».*

А ниже мешанина из нацарапанных, забракованных, переделанных, записанных и переписанных, упорядоченных и, наконец, принятых строк.

Вот и все, что у меня есть из самого начала истории: обрывки, заметки и катехизис, законченный начисто и оставленный для меня. Он на самой последней исписанной странице. И именно ее читатель видит первым делом. Ее нарочно положили наверх, катехизис открывает книгу.

Я думал, что понял его, когда смог прочесть, но, наверное, только теперь наконец действительно понимаю. Если так, то я должен решить, что делать. Начну с ответа, изложив нечто важное, что узнал.

*«Перед  
Ключом Не Устоит Никакая Преграда».*

Моя вторая книга рождается быстро. Самая шумная из трех. Я не стану писать ее от руки. Пальцы быстро стучат по клавишам, и моя вторая книга грохочет.

К МОМЕНТУ ВСТРЕЧИ С ТЕМ, КТО ПОЗЖЕ станет его управляющим, мальчик был еще мал и наивен, но благодаря урокам матери не совсем уж невежественен.

Иногда она приносила домой из города что-нибудь новенькое почитать. Каталоги зерновых и сельскохозяйственных машин, инструкции по очистке металлов и альманахи – или то, что от них осталось после вырывания страниц с неверными прогнозами и бесполезными советами. Все на официальном языке, на котором я говорил, пока рос, и на котором теперь не пишу. Сложенные вырезки из иностранных газет, спрятанные или оставленные меж страниц в качестве закладок, мы игнорировали.

Моя мама изменяла поэзию слов, уныло их растягивая, чтобы показать мальчику, как звучат буквы. Позже человек, который станет его управляющим, усовершенствовал эти знания, заставив мальчика вслух читать бесконечно тоскливые тексты и спрашивая, что тот понял.

Управляющий учил его, что слова со временем меняются на одну или несколько букв, а порой и целыми корнями: «мочь» становится «мощью», «светопись» – «фотографией». В конце концов человек даровал мальчику другой язык, и, вернувшись, он узнал из тех вырезок о грандиозных чужеземных войнах.

Он всегда подозревал, что его отец умеет читать и писать, хоть как-то, и подозрения эти все крепили. Уже давно, когда детская любознательность только зародилась, мальчик нашел спрятанные меж досками туалетной

будки карточки – маленькие порнографические фотографии, с обратной стороны исписанные убористым почерком, но тогда он был слишком мал, чтобы что-то прочесть. И так и не узнал, отец ли их подписал, или от кого-то получил такими, или просто нашел, а может, они вообще не его. Старые камеры требовали долгой выдержки, потому раскрашенные вручную мужчины и женщины лежали друг на друге в неестественных и причудливых похотливых позах. Мальчик убрал карточки обратно в щель, а потом они исчезли.

Он понятия не имел, что его мама получает от компании отца. Они жили вместе, проходили мимо друг друга каждый день и немного общались при необходимости без недовольства и злобы, но и, насколько мальчик видел и помнил, без удовольствия и интереса. От отца веяло сдержанным отчаянием.

Мама мальчика, казалось, всегда знала и не одобряла, когда его отец убивал. Это порождало в ней холодное и тревожное отвращение. Тогда мальчик ее опасался, но в редкие минуты, когда на лице отца появлялось безразличное пустое выражение, жаждал торопливой и неловкой защиты, которую предлагала мать.

\* \* \*

Став свидетелем убийства собаки, я как никогда прежде боялся остаться наедине с отцом. Но за месяцы страх, каким бы сильным он ни был, теряет остроту. Отец относился ко мне все с той же взволнованной рассеянностью, что и всегда.

Он дни напролет пропадал в мастерской. А когда поднимался на средний этаж, я ложился на холодные доски чердачного пола и слушал их с матерью приглушенные голоса. Слов различить я не мог, но, казалось, они говорили с приятнью, которая порой немного напоминала нежность.

Люди все заказывали ключи. Когда их доставлял отец, он всегда ходил один.

Когда с холма спускалась мама, один раз из трех она брала с собой меня.

\* \* \*

В центре города находился мост. Вдоль его западного края тянулись черные перила, на которые можно было облокотиться, разглядывая листву и скалы, холмы и реку. С другой стороны выстроились каменные здания, теперь укрепленные деревом, бетоном и железными балками. Когда-то мост был жилым, но некий указ поставил на этой практике крест, и в развалинах между магазинами мигом обосновались беспризорники.

Строить здания на мосту – позор. И мост не желает столь позорной славы. Если бы он мог выбирать себе форму, то не выбрал бы никакой, обратившись незаметным соединительным звеном между двумя частями города над рекой или дорогой, или клубком железнодорожных путей, или карьером, или вел бы от острова к острову, а то и к континенту. Мост мечтает, чтобы женщина, стоящая на одной стороне ущелья, шагнула вперед, будто готовая умереть, но тут же ступила на землю с другой стороны. Мост лишь немногим лучше отсутствия моста, но горизонт его непрерывен, что уже само по себе позорно. И все же кто-то воздвиг здания на этом мосту, привлекая внимание к его существованию и неудачам. Самонадеянность, вызывавшая во мне трепет. Где ж еще могли поселиться эти дети?

Банду хорохористой ребятни терпели, покуда воровство их не бросалось в глаза, а то и привлекали к грязной работе, так что лавочники даже получали от их существования пользу.

Наш город был небольшим узлом на маршруте нищенствующих торговцев, потому иногда удавалось приобрести неожиданные товары, овощи не чета жестким, растущим на склоне холма, иноземные безделушки и ткани поразительных расцветок. Странствующие купцы ставили вагончики перед лучшими домами, торговались, пили и рисовались, рассказывая всякие истории. Их представления всегда собирали небольшие толпы зрителей, и пока родители внимали, дети во время затишья в болтовне пялились на меня. Даже моя мать наблюдала за спектаклем торговцев и мне разрешала. И я вечно покупался на их разглагольствования об *«изящном бурачнике»* или *«шнеке, который мне просто необходим, чтобы копать ямки под столбы»*.

Те, кто знал мою мать, относились к ней с настороженной вежливостью. Когда она подходила к вагончику, я молча прятался за ее юбкой, а купцы опасливо здоровались и могли спросить о моем отце, на что мама моргала, затем тщательно подбирала выражение лица, кивала и ждала.

– Передайте ему мои благодарности за ключ, – могли ответить ей.

В нескольких поворотах к востоку от странствующего базара мясники

из мясного квартала порой выставляли куски экзотических животных и помечали их не словами, а фотографиями или нарисованными картинками. Так я узнал, что там продается жираф – по желтоватому портрету на груди сушеного мяса. А однажды мы забрели на нереально огромный склад, полный полок с соленой рыбой, что доставляли из ближайшего города – с побережья, где бы оно ни было, – и дрожащих генераторов и подключенных к ним холодильников, забитых серыми трупами крупных обитателей морей. И я, знавший лишь агрессивных костлявых рыбешек из горных ручьев да мелкое, пойманное на охоте зверье, благоговейно замер перед стеклянными резервуарами – такими большими, что и меня бы вместили. Их за немыслимые деньги доставляли на бог весть какой рынок, только внутри был не я и не какой-либо другой человек, а морская вода с клубками черных водорослей, полипами и огромной морской звездой. Все это вяло ползало по дну, цепляясь за камни, словно пестрые руки.

В мясном квартале росло мало деревьев, будто почва меж камнями на их вкус была слишком кровавой, но в других местах они попадались на каждом шагу – низкие, чтоб брнчать ветвями по провисшим электрическим проводам, и вечно грязные благодаря повозкам, животным и двигателям, что орошали их экскрементами и дымом.

К юго-востоку от обители мясников чей-то передний двор с кучей запчастей и промасленных тряпок пересекала железная изгородь, и всякий раз я надеялся, что мама поведет меня по этому пути, ибо в покореженном металле виднелся срез давно умершего дерева, которое будто бы тянулось к торчащему из каменных плит пеньку – собственным мертвым корням. Очевидно, дерево росло и пробиралось через забор, плотно охватывая собою прутья, пока хозяин не взбеленился и не срубил его, оставив только ту часть, которая вцепилась намертво. И, шагая мимо, я всегда прикасался пальцами к слившимся воедино коре и железу.

Дети с моста частенько ошивались там, приглядываясь ко мне. Собравшись у пенька, они затевали игру со странными движениями, будто кому-то поклонялись. Мне даже казалось, что они чувствуют руками пропавший ствол, словно это особый навык городских детей – лазить по призрачным деревьям.

Мама как-то открыла ворота, и я с тревогой наблюдал, как она поднимает с земли испачканный металлический болт. После мы шли в запутанные переулки ближе к оврагу, где властвовала архитектура, а не зелень. Здания там стояли под наклоном, будто строились с учетом окружающей растительности, которая потом умерла, оставив древовидные пустоты в городских стенах. Я прошмыгивал в эти укрозные уголки и

стоял в нежных объятиях кирпичей, а мама ждала.

Вдоль самой громкой торговой улицы, слишком крутой для повозок и закопченной дымом из мастерских, тянулись небольшие баньяны. С ветвей свисали лохматые лианы, у самой земли затвердевая, точно корни, и раздирая мостовую. Местные жители следили за нами, спустившимися с холма, из спрятанных под ветвями лачуг, откуда торговали сигаретами и конфетами. Упираясь в крыши и стены, свисающие лианы тоже твердели прямо по контурам магазинов, так что, когда некоторые разорились и сгнили, сами деревья стали открытыми спереди будками. И туда мальчик тоже забирался, дабы постоять под сенью спутанных жил, расползающихся все дальше, будто не веря, что наконец-то им не мешает никакой металл. И я все думал, что если долго не шевелиться, то в итоге и меня оплетет с ног до головы, превратив в столп.

Дети с моста шли за мной.

Я старался особо не оглядываться, но знал, что шумно-хулиганистую и бесстрашную на вид банду в подрезанной взрослой одежде возглавляют мальчик и девочка. Я их точно не боялся. И порой осторожно наблюдал за ними, зачарованный их непостижимостью.

Денег у меня не было, и мое лицо не вызывало у торговцев желания бесплатно угостить меня конфетами. А мама, ошеломленная яркими свертками, свисающими с потолка лачуг, смотрела вокруг с таким выражением, что мне отчаянно хотелось ради нее быть старше.

Один изможденный худой человек и вовсе поселился в лачуге под баньяном. Он лежал на продавленном матрасе, сунув под голову набитый мешок и прикрыв рукой глаза, а вокруг валялся разномастный хлам: бумага, керамические черепки, остатки пищи и неопознанный мусор. Мужчина походил на павшего воина. И грязь, казалось, въелась в него настолько, что линии на лице напоминали письмена.

Подле него стояла зеленая пятилитровая бутылка, и внутри ее что-то дергалось. Я разглядел листья, среди которых бил крыльями мотылек. К стеклу была прислонена рукописная табличка с мольбой о подаянии – плата за просмотр. И вдруг по дну бутылки как безумная закружилась пузатая серая ящерица размером больше, чем моя рука, и я отпрянул.

Когти с легким скрежетом заскользили по стеклу, но горлышко оказалось слишком узким – даже голова рептилии не пролезла бы.

Я ринулся догонять маму, а догнав, заглянул в ее сумку. Она уже обменяла принесенную с собой еду на другую, и где-то под овощами дребезжал новый мусор вроде того болта, что она захватила с металлического двора.

Раздался свист, и мы подняли глаза. На подмостях, что поддерживали какие-то развалины, стоял мальчик-заводи́ла из банды беспризорников. Остальные ждали внизу. Он отпустил балку, за которую держался, легко перепрыгнул на другую и, раздраженно переступив с ноги на ногу, уставился на меня. Мальчик был низковат для своего возраста – если я правильно его оценил, – немногим выше меня, но крепок, силен и уверен в своем теле. Он снова позвал, но мы не знали, как реагировать и что ответить.

Мама перевела взгляд с детей на меня:

– Хочешь поиграть?

Она словно просила, чтобы я помог ей разобраться. Хотел ли я поиграть?

– Поиграй с ними, – сказала мама.

И, заверив, что найдет меня на закате, пошла прочь. Я вскрикнул от ужаса и увязался следом, но мама подтолкнула меня обратно к детям и повторила наставления.

Я наблюдал, как она уходит. Дети приблизились – наверное, видели, что она указала на них.

В тот первый раз они продолжили свои игры на расстоянии крика от меня, следя, чтобы расстояние это особо не увеличивалось. Они играли для меня. А когда я, расстроившись, стал искать маму, высокая сбитая девчонка, вторая из заводил, что-то рявкнула, предупреждая остановиться.

Мы друг для друга стали зрителями и актерами. И я увяз в этой театральной шайке так основательно, что, наконец увидев в конце улицы маму под брызгами света уличных фонарей, осознал: она уже давненько ждет. Она стояла с закрытыми глазами, слушая жужжание лампочек и позволяя мне самому ее найти.

Я в тот момент рыдал над очередным безжалостным виражом игры детей, и они что-то бормотали в ответ – заботливо, но презрительно.

Они называли меня «верхотой». Я их никак не называл.

\* \* \*

Девочка – Сэмма. Мальчик – Дроб. Именно они раздавали указания всей малолетней банде.

Я быстро узнал их имена, потому как во время прогулок остальные порой выкрикивали «Сэмма!» или «Дроб!» и гоготали и улюлюкали, будто

это не имена, а ругательства, а произнесшие их такие плохие и отважные.

Моя мать с детьми никогда не заговаривала. Но из отстраненной любезности, оставляя меня и отправляясь по своим делам, она убеждалась, что мы с ребятами друг друга заметили.

Они боролись, воровали, раздавали приказы, а я редко мог выдать из себя больше, чем несколько слов, и те шепотом. Даже когда приказы напрямую касались меня и даже когда я повиновался.

– Бросай бутылку в плакат! Ну же, верхота! Шикарно! Прямо в букву «А»!

Я их робко обожал.

Сэмме, наверное, было раза в два больше, чем мне, лет четырнадцать, а Дробу чуть меньше. Они могли как дружить, так и встречаться, хотя я никогда не видел, чтобы они целовались. А может, они вообще были братом и сестрой. Мясистая неторопливая Сэмма на голову возвышалась над нервным и быстрым Дробом, но лица их – темные, угловатые, с густыми нависшими бровями – словно вырезали из дерева по одному лекалу. Черные волосы оба почти начисто сбрасывали.

Я следил за их пробежками по городу и хулиганствами – чуток воровства да битые окна, вот и все. Порой местные бросали им монеты и выкрикивали поручения, и прежде чем забрать деньги, дети изучали их, оценивая и обсуждая, стоит ли братья за доставку или уборку.

В конце дня они возвращали меня туда, где забирали. Сэмма щелчком пальцев велела мне идти следом и провожала к матери, что стояла в тени, наблюдая за шагающими мимо мужчинами и женщинами.

Как-то раз мы очутились в конце улицы баньянов, и Дроб, заметив мой взгляд и словно угадав мои мысли, сказал:

– Сюда мы не пойдем.

В тот день на нем была высокая шляпа с плоским верхом, покореженная мусором, в котором Дроб ее, наверное, и нашел. Он частенько надевал что-то такое – то яркую бандану, то остатки какого-то шипованного ремня, – будто устраивал пробы для каждой вещи. И ни одну из них я не видел больше одного раза.

– Дроб! – окликнул стоявший за нами мальчик.

– Как он засунул ящерицу в бутылку? – прошептал я.

– Это ящерица? – Дроб закашлялся от смеха и покосился в сторону. – Магия, дружок. Идем, ни к чему тебе это дерьмо.

И они с Сэммой повели меня на склад без крыши, где мы могли устроить бардак.



\* \* \*

Иногда дела отвлекали маму настолько, что мы все еще оставались в городе, когда опускалось солнце и загорались ночные огни.

Если в сумерках мы оказывались близ моста, я с радостью наблюдал, как дети ловят мышей.

Они садились рядом на перила, свешивая ноги и болтая ими над верхушками деревьев. Несколько храбрецов балансировали на самой высокой части металлического поручня, прямо над пустотой. Сэмма всегда была среди них, хотя казалась слишком крупной, чтобы удержаться, и слишком взрослой, чтобы так собой рисковать. У меня от этого кишки сводило. Хватало быстрого взгляда вниз, и к горлу подступала тошнота.

Как ловить подмостную летучую мышь? Возьмите полый пластиковый или бамбуковый шест двух-трех метров в длину. С одной стороны обмотайте его старой веревкой или кожей, чтобы получилась рукоять. Прикрепите жесткую проволоку или даже целую катушку, если умеете, и, протянув по трубке, вытащите с другого конца. Затем привяжите крючок и цепляйте наживку. Лучше всего летучие мыши клюют на летающих насекомых типа жуков или сверчков размером с большой палец.

Ребята наклонялись вперед, свешивая мышинные удочки, и проволока на концах раскачивалась. Нужна особая сноровка, чтобы не убить и не повредить насекомому крылья, когда его насаживаешь. И проволоку берите потяжелее. Если все сделаете правильно, цикада, или что вы там нашли, попытается улететь и безумно закружится, надеясь сорваться с поводка.

В сумерках городской мост обростал бородой из удочек и неистово рвущихся прочь насекомых. Затем свет гас, и проснувшиеся летучие мыши отправлялись по своим ночным делам, с хлопками вырываясь из арки под нами, с обратной стороны моста. Пролетая мимо, они хватались за жуков. Но прежде чем протолкнуть приманку в рот, мышь накрывала ее всем телом – так они и ловят жертву, – так что порой крючок цеплялся за кожу. Ловец вытягивал добычу, пока она дергалась, боролась и лишь сильнее себя ранила, затем с торжественным криком сворачивал ей шею и вещал о мышинной глупости или же просто размахивал мертвыми шуршащими крыльями и совал маленькое тельце под нос остальным членам банды.

Иногда добыча проглатывала крючок. И вытягивали мышь на торчащей изо рта окровавленной проволоке, будто на ее собственном, очень длинном языке.

Дети съедали летучих мышей, а шкурки пускали на самые разные

цели. Я не любил кровь и смерть, но любовался мастерством аккуратных бросков, поворотами запястий, что заставляли наживку дергаться, быстрым и точным вытягиванием пойманных мышей. Я не любил кровь и смерть, потому что они напоминали о другом, но я старательно отбрасывал эти мысли, ведь с детьми все было иначе. Они убивали сноровисто и для пропитания. Или во имя игры. Или ради риска.

Я НЕ БОЯЛСЯ ИДТИ ДОМОЙ В ТЕМНОТЕ, хотя знал, что некоторых ночных обитателей холма стоит опасаться. Мама всегда брала в город фонарь и в такие вечера направляла его сияющий луч перед нами, и он взбирался по камням и петлял по тропинке, распугивая или приманивая мелкую живность. Насекомые с размаху бились о стекло фонаря.

По ночам мама была особенно говорлива.

– Я из южного города. Выросла там, на другой стороне. Только взгляни.

Мы редко пересекали мост. И даже тогда лишь быстро проходили по крайним торговым улицам второго холма, и мне казалось, что люди там совсем другие. Эта половина города будто была ближе к источнику энтропии.

– А что в овраге? – рискнул спросить я.

– Внизу? О... – Мама, похоже, устала от того, что я вечно ее прерываю. – Я не знаю, не знаю. Не могу сказать, что там внизу.

Она помолчала.

– Я бывала у самого моря. На побережье. Там... – Она что-то нарисовала руками в воздухе. Башню. – Я сидела в кабинете. Не знаю, почему они меня забрали. Я заполняла для них бумажки. И сейчас могу, если заплатят. – Мама сделала еще несколько шагов и продолжила: – Мы жили там всемером, в доме с белым коридором и стеклом над дверью. Почти у самой станции. Ты ведь никогда не видел поезд.

– Видел на картинке, – ответил я. – А с какой стороны моста вырос отец?

Она на меня даже не взглянула.

– Там, где я была, много поездов. Я на них каталась. – Мама подняла руку. – Одно дело центр, он еще держался, но город вокруг него лежал в руинах. По большей части. Знаешь, что такое море? Поезда там ходят прямо вдоль берега.

– Так с какой он стороны?

Она задумалась.

– С чего вдруг такой интерес? – Голос ее звучал глухо, и я отошел

подальше. – Он явился... откуда-то еще.

– Потому он говорит иначе?

– С акцентом. Раньше он думал на другом языке. Он явился в порт, где я работала. Приплыл на лодке, из-за проблем вынужденный покинуть очень большой и очень далекий город. Мы встретились в кабинете. Он сказал, что двинется дальше, что там проездом. Что ищет городок поменьше. И еще дальше. – В мамином тоне мне слышалась привязанность к отцу. – В конце концов я привела его сюда.

Уже совсем стемнело, и, оглянувшись, можно было увидеть, насколько меньше огней с южной стороны от оврага в сравнении с северной. Разбросанных огней. Они ломаными линиями обрисовывали улицы, что вились по склону, будто пытаясь обогнуть мост. А потом на километр поднимались по другому холму, растворяясь в манящей темноте электростанции. Я гадал, зажигались ли огни в доме, где выросла моя мать.

Мы слышали раздраженные крики городского осла. Или кого-то из пришлых. Я видел гаснущие костры и представлял их в самом сердце южных домов, в развалинах, на фабриках в разгар ночной смены.

– Все должно исчезнуть, – сказал я, указывая на захиревшую округу. – Или выстоять.

Мама не ответила и направила на меня луч фонаря.

– Выжить или сгнить, – выдохнул я.

Голос немного дрожал, и я поймал на себе пораженный взгляд матери. Что ж, вполне ожидаемо. Так внимательно она на меня смотрела, лишь когда чувствовала во мне нечто особенное. Например, когда над нашим домом сгустилось облако скворцов – безмолвных, но неистовых, – и я побежал к ней, уверяя, что у птиц над нами должны быть собачьи головы.

– Надо разобрать здания, – продолжил я. – По кирпичику, собрать их в кучу и поджечь.

– Кирпичи не горят.

– Но нагреваются как на солнце. Этого хватит. Они превратятся в пепел.

Летучие мыши. Я вновь видел летучих мышей. Но эти, воображаемые, рожденные в кирпичном пепле, были громадные, как здания, и не летели, а шли, жутковато перебирая кончиками крыльев и когтями. И пепел затвердел, так что не проваливался под их шагами. Вот где они могли бы жить. Страна летучих мышей между городом и верховьем холма, их личный край!

– Или... или развалим все остальное, – сказал я. – Центр города.

– Уничтожим купола? – спросила мама.

В нашем городе был только один купол. Может, она имела в виду побережье, где их гораздо больше.

Значит, надо и там все тоже уничтожить. Снять купола, разобрать железные дороги, пока город не исчезнет. Даже бардак устраивать не придется, никто же не говорит взрывать здания в центре. Просто забираешь один кирпич, потом второй, потом третий... И тогда зелень вернется. И развалины вокруг преобразятся, станут прежними, а то немного, что уже пришло в упадок, возродится из руин. Вот как мы можем помочь. За пару месяцев вырастет город – воскресшее кольцо высотных домов вокруг огромного поля сорной травы.

– Хватит, – резко оборвала мама.

Я моргнул и понял, что стою на темном склоне и говорю вслух. Всю дорогу до дома я молчал.

\* \* \*

Когда Сэмма и ребята за мной не приходили, я нехотя плелся по городу за мамой, пока она нерешительно заглядывала под выбеленные солнцем навесы магазинов и совершала покупки, в которых я не видел никакой логики. Порой, вгоняя меня в еще большую тоску, она забиралась на огороженные свалки, копалась в кучах мусора на углах улиц и что-то там для себя находила. Так многие делали, но я раздражался так, будто она была единственной.

На более крутых улицах выше по склону внутренности некоторых домов изменили, убрав комнаты и даже полы, так что пустые оболочки бывших жилищ теперь стали церквями для какой-нибудь низшей веры или витринами для крупных промышленных товаров. В дверь одного такого дома мама однажды постучала, и ее впустила изнуренная молодая женщина в грязном фартуке, жующая ароматизированную кору. Мы прошли в тусклый коридор, полный едких запахов и хриплых звуков. Окна были покрашены черным, а каждый дверной проем до середины перекрывала проволочная сетка. Из комнат убрали мебель, оставив все пространство птицам, сгруппированным по возрасту и полу: в спальне жалко щебетали крошечные цыплята, на кухне толпились старшие. Я закашлялся от витающей в воздухе перьевой пыли. Судя по звукам, наверху держали гусей.

Женщина сплюнула кору под лестницу, и два петуха ринулись изучать

добычу.

– Ну входите, – сказала женщина. Затем добавила что-то на другом языке, но мама покачала головой, и она вернулась к привычной речи: – Чего вам?

Мама купила яйца и птицу на ужин. Женщина свернула курице шею.

Мы двинулись к следующей вонючей хибарке дальше по улице. Дверь была не заперта. Мама велела мне ждать снаружи, но, услышав, как она поднимается по лестнице, я зашел следом в очередной, воняющий цыплатиной дом.

Он оказался свалкой. Люди приносили сюда свой мусор и забирали чужой. Горы хлама встретили меня неприветливо, наслоения разлагающихся останков лежали неподвижно и безмолвно, лишь иногда в них что-то еле заметно шевелилось. Я задержал дыхание и ринулся к окну, откуда вместе с парящими мухами и кучками их мертвых сородичей пилился в зазор между мусорными сугробами.

В ответ оттуда на меня тоже уставились глаза, отчего я испуганно вдохнул и набрал полный рот этого мерзкого, вонючего воздуха.

Стеклянные кругляши в деревянной голове с челюстью на шарнирах смотрели на меня из хлама. Годы гниения смазали зачаточные черты и нарисовали новое заплесневелое лицо – замысловатое и жуткое, обратившее меня в бегство.

В ОДИН ЯСНЫЙ ДЕНЬ БЫСТРОТЕЧНОГО ЛЕТА я спускался по тропинке от мусорной ямы и наткнулся на шедшего навстречу отца.

Я замер. Порой, если закрыть глаза и стоять очень неподвижно, можно увидеть скалы на изнанке век. Или осознать, что форма вещей совсем не похожа на то, что ты в силах постигнуть.

– Я не заходил, – сказал я. – Вы не запрещали ходить к пещере, просто велели не заходить внутрь. Я только у входа постоял.

Я редко ослушивался родителей. Когда кто-нибудь из них ловил меня на каком-либо проступке, я начинал трястись или замирал будто восковая фигура. Если отец подозревал меня в дурном, то мог заставить стоять на улице в любое время, даже под дождем. А мама обычно просто смотрела на меня и что-то неприязненно бормотала или же стучала костяшками пальцев по моей руке, словно в дверь – не больно, но в такие минуты я сгорал от стыда. И все же, когда наступало время наказания, меня всегда парализовало, точно уже мертвого. Пока отец приближался, я не шевелился и слышал лишь хлещущий по лицу ветер.

Он не нахмурился. Даже не взглянул на меня. Я наблюдал, как он еле

тащится, но не от усталости. Затем посмотрел на руку, в которой в прошлый раз отец нес убитую псину, и то, что я принял за мешок мусора, оказалось волочащейся по земле горной птицей.

На холме всегда было полно этих нелетающих падальщиков. Мы называли их тошнотиками. Мясо у них жесткое и жилистое, но не самое худшее на вкус. Подстрели одного, и хватит для рагу на два-три дня. У отца не было пистолета. И я не понимал, как он поймал тошнотика – несмотря на упитанность, они пугливы и быстры. Но как бы отец ни убил птицу, я знал: это не для еды. Я хотел рыдать, но не шелохнулся.

Отец держал тошнотика за шею, под которой болталось коричневое тело размером с крупного младенца. Вытянутая голова была свернута набок, и с каждым шагом отца мерзкий изогнутый клюв с легким щелчком открывался и закрывался. Широко расставленные лапы птицы волочились по земле и подскакивали на камнях, будто безуспешно пытались зацепиться за них когтями.

Отец прошел мимо, бросив на меня короткий взгляд, будто на пенек, или сломанную машину, или еще что-то имеющее значение лишь потому, что стоит на пути и его нужно обойти. Так и отец обошел меня.

Я знал, что он тащит мертвую птицу в мусорную яму. И выбросит ее так, чтобы она описала в воздухе дугу, как должно, и упала вниз. Я знал, что в тот день отец кормил только темноту.

\* \* \*

Мальчик заполз в чердачный угол к своим рисункам и добавил еще один меж обоевых стеблей – ящерицу в бутылке. На следующий день он вернулся и нарисовал рядом кошку в другой бутылке и лису в третьей. Мальчик нарисовал рыбу в бутылке, ворона в бутылке, горного льва в большой бутылке. Горных львов он никогда не видел, но порой слышал их и знал, что должен их бояться. Он воображал, что за стеклом сокрыт глубокий гортанный рык, и эта мысль завораживала. Мальчик дорисовал плотные пробки в горлышках бутылок.

Он мельчил, дабы сохранить рисунки в тайне, и вдруг понял, что невольно словно выстроил свои бутылки рядком в некоем странном шкафу. Тогда он создал под ними полку, и когда дневной свет добрался до изображения, отбросив на него тень руки мальчика, он уже добавил вокруг линии дома, в котором стоял шкаф с бутылками, а потом нарисовал другие

дома с обеих сторон. Он мог бы заполнить всю комнату, покрыть все стены кривыми улиц, а затем поместить на них мужчин, женщин и детей – теми же штрихами, что и весь город: маленькие женщины носили бы маски, и кое-кто был бы приплюснут, словно жил под водой. Кто-нибудь из них стал бы хранителем бутылок.

Но мальчик хотел оставить рисунки в тайне, потому держал город и перечень всех его жителей лишь в своей голове.

Я выглянул на улицу. Копавшаяся в саду мама как раз наклонилась, чтобы извлечь ненужные корни, и попала в поле зрения. Ветер растрепал ее одежду и выдернул из кармана клочки бумаги. Мама смяла что-то в кулаке, опустила в раскопанную ямку и очень тщательно и осторожно присыпала землей.

Мне нравилось сидеть, втиснувшись в маленькую оконную нишу, но вскоре я должен был стать для этого слишком большим. Я поджимал колени, упирался в стену согнутой спиной и опускал голову, сворачиваясь калачиком на подоконнике, и дом словно держал меня на руках, как ребенка. И я сидел на этом выступе, потому что все еще мог.

Оттуда я смотрел вдаль и вниз, через сад и по склону нашего холма с его колдобинами и пригорками до самой линии деревьев. И неба. Иногда люди называли его холмом, иногда горой. Он беспрестанно менялся. Разрастались ветви, деревья на ветру перекручивались друг с другом. Даже камни сдвигались.

В тот раз я привстал, ибо увидел какую-то новую зелень: некие грубые очертания растения, не иголки, не волокнистые листья, но сгруппированные шипы и узловатую кожу. Неуместное среди серой и пыльной знакомой мне растительности, оно покачивалось и пробивало себе путь вверх по склону на краю моего зрения, будто нарочно красуясь на фоне неба цвета скал. Быстро мелькнувшее явление.

Едва я его увидел, оно мгновенно погрузилось в неровную землю.

Я выбрался из ниши и ринулся по лестнице с чердака, на улицу и дальше по тропинке. Я бежал быстро, как мог, не отрывая от пролеска взгляда. Я вылетел прямо в его пустой центр и замер в одиночестве, окруженный взволнованной мошкаррой. Я долго вслушивался в тишину и гадал, не раздвинул ли вон те кусты и низкие деревья, где все еще виднеется пробел, кто-то большой, а может, они до сих пор дрожат, потревоженные его передвижениями. Глинистый сланец там не сохранил хороших следов, но у корней я заметил потертости и решил, что это отличные отпечатки. И не тряслась ли земля? Точно кто-то развернулся и направился прямо ко мне?

Внезапно поднялся ветер, такой сильный, что дыхание перехватило и ничего больше не было слышно, и весь подлесок пришел в движение. Никто на меня не набросился, кроме порывов ветра. Повернувшись, я увидел в пыли два огромных неведомых цветка: яркие лепестки над жесткой сердцевинкой, разделенные пучками шипов.

Я взял их и вернулся в дом. Не решаясь позвать маму, я поднялся по лестнице и вдруг замер в тишине у ее пустой комнаты. Затем, несмотря на запрет, толкнул дверь, и та отворилась, являя мне мамины вещи. Разобранную кровать. Стул с несколькими книгами, которые она не научила меня читать. Ящички, одежда, кусочки мусора, аккуратно сложенные на полке у окна, откуда холм виделся под новым для меня углом.

Я чувствовал мамин запах. Я хотел остаться и получше все рассмотреть, но боялся, что она меня застукнет, а еще хотел узнать, что это только что прошло по склону.

Когда я, спрятав руки за спину, приблизился, мама как раз закончила утрамбовывать землю, выпрямилась и, убрав что-то в карман, замерла в ожидании.

– Я кое-что видел, – сказал я. – Шагающее дерево.

Какое-то время она молчала. Стояла, распрямившись во весь рост, и смотрела мимо меня туда, откуда я пришел. Не знаю, почему я спрятал найденные цветы в ладони.

– Возможно, тебе просто показалось, – промолвила мама и снова умолкла.

Меня заворожила не свойственная ей нерешительность, с которой она несколько раз открывала и закрывала рот, прежде чем продолжить.

– Возможно, – сказала мама, будто не только для меня, но и для себя, – это был кто-то из города твоего отца...

Она сдвинула брови и устремила взгляд на горизонт.

– Приехал повидать его? – спросил я.

Мама повернулась ко мне, и хотя ее внимание, как это часто бывало, нервировало, я понимал, что она оценивает не меня, а ситуацию. Она будто собиралась добавить что-то еще и даже вытянула шею. Но наконец просто покачала головой:

– Тебе просто показалось.

Ее спокойствие принесло облегчение и разочарование, и я одновременно сожалел и радовался, что никто не явился и не подтолкнул маму закончить начатую фразу. Она вновь сгорбилась, возвращаясь к своей грядке, и я знал, что больше ничего не услышу.



Когда мама ушла в дом, я посадил лепестки и шипы там, где она копала.

ЕЩЕ ДВАЖДЫ, ИГРАЯ НА ПЫЛЬНЫХ СКЛОНАХ, я видел, как отец тащит к мусорной яме зверей, которых забил до смерти. Оба раза я наблюдал за ним, не смея пошевелиться. Порой в моих воспоминаниях в эти моменты у него мамино лицо или их смешанные черты, которые сбивают меня с толку. Но я все же уверен, что это отец. Один раз он нес маленького кролика. А второе животное было так избито, что я не смог его опознать.

Два убийства разделяли месяцы. Если отец делал это еще с кем-то, то я не видел.

Как никогда не видел, чтобы отец убивал человека – точнее, я уверен, что впервые увидел это перед своим побегом, и полагаю, то была уже третья его жертва.

К нашему дому пришел юноша. Высокий, молодой и пылкий, в приличной одежде – я предположил, что он один из богачей из низины. Когда я открыл дверь, он был жутко раздражен.

– Где ключник? – спросил он, тыча в меня пальцем. – Ну, где этот гребаный ключник?

Пришел отец и прогнал меня, так что я устроился на улице на холодной земле под его окном и пытался подслушать их разговор. Близилось лето, и землю вокруг дома покрывали сорняки, а вот найденные и посаженные мной цветы так и не проросли.

Я слышал, как клиент говорит отцу о своих потребностях. Голос его звучал так низко и быстро, что я ничего не мог разобрать. Отец пытался его успокоить. Не сработало, и юноша заговорил еще громче.

– Сделай гребаный ключ, – вот что я услышал.

Отец коротко ответил.

– Хочешь серебряный цветок? – спросил молодой человек. – Хочешь, чтобы я дал тебе цветок, советник? О, они все мне нужны! Все нужны!

На несколько минут повисла тишина, а потом раздался скрежет и размеренный ритмичный стук. Я так и сидел, согнувшись в три погибели и опасаясь распрямиться. Слушал удары и ощущал, как от них по дому расползается дрожь.

Я не знаю, как назвать охватившее меня тогда чувство... конечно, в основном это был страх, но также присутствовала и некая убежденность, азарт от того, что я совсем не удивлен, увидев себя там, будто я наблюдал за собой со стороны и мог распознать неизбежность.

Ритмичный стук не утихал. Я моргал и трясся, а потом глянул в небо, потеплевшее и потяжелевшее от облаков, и заметил, как мама опустилась на колени, задрав юбку и расставив ноги в канавки между засеянными бороздами. С ее рук валились комья грязи.

Я уставился на маму, а она – на меня, и мы прислушались.

Когда мама вздрогнула и протянула мне руку, я понял, что плачу. Она не обняла меня и не зашептала нежности, но встала и поспешила ко мне через цепляющиеся за лодыжки овощи, и я пошел навстречу. Она сжала мои ладони и как могла быстро потащила прочь от дома, за пределы слышимости и видимости.

– Вот так, – бормотала мама, – сюда.

И без конца издавала какие-то тихие звуки.

– Стоп, подожди, – сказала она, словно бы самой себе. – А теперь быстро.

Она вела меня вниз по склону. По горной пыли мы добрались туда, где я прежде не бывал – казалось бы, невозможно, но я огляделся и даже в том дрожащем состоянии понял, что никогда не видел вот эту группу стволов и ветвей и вон ту трещину в огромной каменной плите под нами, лопнувшую под напором расползающихся лиан.

Лесной зверек – быстрый и мохнатый – пробежал мимо так близко, что я сумел разглядеть его зубы. Мама оперлась спиной на дерево. Она все еще держала меня за руки, вытянув напряженные свои, так что я не мог ни отойти, ни приблизиться к ней.

– Как в воде, – наконец произнес я и указал в ту сторону.

Мама посмотрела на мой палец и вновь на меня.

– Как в резервуаре, – продолжил я.

Я указывал на лозу, расползшуюся и изогнутую, будто лапы насекомых или конечности морских животных.

– А, да, – сказала мама через мгновение. – Морская звезда. Да, наверное, немного похоже.

Я высвободил руки и, забравшись на каменный выступ, уселся, так что теперь наши головы были на одном уровне.

– Вода в том резервуаре была соленая, – объяснила мама. – Как само море. Помнишь, я рассказывала тебе, что такое море?

Ничего такого она не рассказывала. Об этом писалось в книге, которую она мне давала. Я кивнул, стесняясь взглянуть на нее.

– На дне морском живет рыба размером больше, чем наш дом, – поведала мама, прищурившись от ветра. – Может, есть такая же огромная морская звезда, не знаю.

– А люди там есть? – спросил я.

– Без понятия. Впрочем, по ту сторону моря живут люди, может, и под морем тоже. – Она потерла ладони друг о друга и прошептала в них: – Представь, какими они должны быть. Только вообрази.

– Что за серебряный цветок? – спросил я. – Для чего он?

– Ни для чего. Ты ведь хочешь серебряный цветок? – Мама сказала это гадливо, но, заметив, как я обхватил себя руками, вздохнула и тихо добавила: – Это то, что ты отдаешь кому-нибудь, чтобы сбежать.

Я двинулся вниз к разлому в плите, из которого торчали лозы, и вытащил крошечное крапчатое яйцо. В трещине уместилось гнездо с остатками других яиц, расколоченных изнутри. Взятое мною было целым и мертвым.

– Когда мы вернемся? – спросил я.

– Через два часа.

Я спустился по крутой стороне скалы. Потребовалось несколько попыток, но я все же ухватился за пустившие корни лианы и вскарабкался по ним. Когда я поднял глаза от заросшего мхом выступа, мама наблюдала за мной, чуть склонившись. Она улыбнулась и помахала.

Вскоре облака потемнели. Я положил яйцо и вернулся, и мы по тропинке поднялись к дому. Едва мы приблизились, я вновь заплакал и разрыдался еще горше, когда мы увидели, что дверь открыта, но отец остался в мастерской, не издавая ни звука. Мама уложила меня спать, а он так и не вышел.

\* \* \*

Где-то через полгода после этого мама взлетела по лестнице на верхний этаж, когда я исследовал его пустое пространство. Она практически вытолкала меня из дома и устроила еще одну быструю целеустремленную прогулку к местам, где я никогда не бывал.

В тот раз отца я не видел. Когда мы вернулись, он не показался мне подавленным или грустным, но из-за маминого порыва я подозревал, что тогда он вновь убил человека.

Представляя равнодушное лицо отца, я опять испытал страх, но не только страх – в тот раз добавилось что-то вроде приглушенного счастья, коего я не стыжусь. В этот момент мама меня забрала.

Я УЖЕ ГОВОРИЛ, ЧТО В ТОТ ДЕНЬ, когда я прибежал с холма, пытаюсь рассказать, как один из моих родителей убил кого-то – возможно, второго, – дети наблюдали за мной, удерживаемые мамами и папами. Там же были и Сэмма, и Дроб, и их друзья, растворившиеся в толпе и следившие за всем с металлической ограда, будто взгромоздившиеся на карниз птицы. Один мальчик из банды заулюлюкал, пока я пытался говорить сквозь слезы, и Дроб бросил камень ему в лицо, да так сильно, что бедняга повалился наземь.

Дроб и Сэмма протиснулись сквозь толпу и подхватили меня под руки, как будто я мог уйти.

В городе не было постоянной полиции. Каждые несколько недель с побережья прибывала делегация людей в форме, дабы разобраться с любыми спорами жителей холма, со скопившимися у добровольных служащих документами и ожидающими в нашей маленькой тюрьме заключенными. А пока агенты не приехали, расследовать мое судорожное обвинение должны были нервный мойщик окон и охотник. Они носили временные ленты на груди, дарующие им власть. А толковать книгу законов полагалось молодой школьной учительнице с бледными шрамами на лице.

Лысый мойщик окон крепко схватил меня и встряхнул.

– С самого начала, – громко потребовал он. – Расскажи, что произошло, с самого начала.

Но я не знал, что есть начало. Какую смерть считать первой, какого животного? Или рассказать о том, что порой у отца был такой взгляд, будто он заменил собственные глаза на прозрачные или мутные стекляшки?

Толпа слушала, как я, рыдая, поправляю собственную историю, мол, нет, мертв кто-то другой, а убил ее мой отец, убил мою мать на чердаке.

Охотник присел, чтобы взглянуть в мое лицо.

– На чердаке? – переспросил он.

Он был стар, бородат и огромен. Он положил невероятно тяжелую руку мне на плечо. На поясе его дребезжал патронташ, на плече висел дробовик. Охотник прищурился, и глаза его, окруженные морщинами, засияли.

– Подожди, – сказал мойщик окон.

– На хрен ожидание, – отозвался охотник. – За тобой есть кому присмотреть?

Я моргнул и уставился на Дроба и Сэмму, а они уставились на меня. Сэмма протянула руку, не обнимая меня, но словно охватывая, не дотрагиваясь. А Дроб обошел ее и встал с другой стороны. Так они

подтверждали нашу связь.

Учительница и мойщик толком не обратили на нас внимания, возмущенные поведением охотника: тот отошел от них, зацепившись большими пальцами за пояс с патронами.

– Ты не знаешь, что случилось, – сказала ему учительница.

Но охотник покачал головой и повысил голос:

– Взгляни на мальчика!

Он замешкался и посмотрел на Сэмму и ее банду, как раз спустившуюся со своих насестов и тихо присоединившуюся к нам. Банду, которая теперь включала и меня.

– Будьте осторожны, – сказал нам охотник.

Затем что-то прошептал Сэмме, сунул ей что-то в руку и вместе с мойщиком двинулся вверх по холму. Учительница, причитая и задирая тяжелую юбку, побежала следом. Еще несколько человек мгновение поколебались и устремились за ними, подхватив железные палки и садовые инструменты, проверяя болты в старом стрелковом оружии и оглядываясь на меня, ошеломленного новым поворотом событий.

В дело пошло все, даже грязь.

Сэмма пялилась на меня, пока я, моргнув, не ответил на ее взгляд.

– Ты голоден? – спросил Дроб.

Но я не хотел есть. Над нами, на окраине города, я видел учительницу, охотника и его отряд, вот они миновали последние дома, и учительница посмотрела на меня через плечо. Сэмма легонько встряхнула меня, и я снова уставился на нее.

– Что он тебе сказал? – спросил я.

– Велел не красть твой ужин. Он дал мне деньги.

Она купила мясо и зерно, и мы потушили их на костре в крайнем из пустующих домов, которые дети провозгласили своей территорией. Мы ужинали все вместе на мосту. На большом пустом чердаке, заполненном светом уходящего солнца, и от этого я вновь разрыдался. Как-то совершенно по-новому.

### ПОДСЧИТАТЬ, ОЦЕНИТЬ, ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАПРОСЫ.

Пересчитать город можно сидя в комнате, мысленно. Этому можно научиться, и если научишься, то поймешь, что всегда это умел, а если поймешь, то придется приспособливаться к новой цели, охватывать и уточнять задачу, чтобы она стала твоей. Когда есть замысел, все становится более конкретным, реальным, мысленно очерченные границы города обретают четкость, и ты уже не заблудишься. Или будешь плутать, как

раньше. Ты когда-нибудь терялся? Тут не нужны знания: просто соглашайся.

Теперь я пишу от руки. Оса мертва или спит. Охранникам за дверью больше нечего слушать. В конце концов мой управляющий дал мне инструкции, и я с радостью их принял. Еще мне дали совет – его предыдущая ассистентка. Сообщила или предупредила о сплетнях среди коллег, одной строкой, и в то же время письмом велела держать ухо востро.

В первую ночь, что я провел не на вершине холма, на том другом чердаке что-то началось.

В ПРОСАЧИВАЮЩЕМСЯ С МОСТА СВЕТЕ я оглядывал комнату. Дом был забит остовами мебели, и беспризорники устроили сложную игру в догонялки, бегая вокруг и сквозь них и всецело отдаваясь этому новому делу. Я сидел тише воды. Порой на меня внимательно смотрели, и я напрягался, но никто так и не подошел и не задал ни единого вопроса о том, что я видел. Сэмма им запретила.

Наконец ко мне приблизился маленький кособокий мальчишка, один из самых младших, и я снова встревожился, но он лишь застенчиво спросил:

– Ты когда-нибудь встречал петуха-драчуна?

Между собой они не раз болтали об этом петухе, созданном из дыма и углей, что выжигает все на своем пути вверх и вниз по склону. Беспризорники заселили верховье холма, где большинство из них никогда не бывало, монстрами. И они расспрашивали меня обо всех: о какой-то птице, о чешуйчатом черве, о крикливом пауке. Но я мог рассказать лишь о рычании больших кошек. Дети слушали так, будто моя сбивчивая болтовня их вполне устраивает, и чем дольше я описывал не только звуки, которые слышал на холме, но и зверей, о которых думал, тем отчетливее проступала тревога на их лицах, примешиваясь к усталости. Пока все дети наконец не сдались и не улеглись на одеяла или картонки в шкафах, замурованных оконных нишах и полках по всему зданию.

Я хныкал, вспоминая новые пятна на старой стене моего дома, закрытые глаза отца – или матери? – их руки, то, как один из них стоял над другим, что-то поднимая... какую-то часть тела. Отец не умер, а убил. Он обернулся ко мне, и я перебудил своих новых друзей криками.

Никто не отругал меня за шум. В какой-то момент я встал с тряпичного тюка, куда меня положили, и протяжно завыл прямо в лицо воображаемой мертвой женщины. Ко мне подошли Дроб и Сэмма, и она подхватила меня на руки и вынесла на улицу. Она не была такой уж

большой, но даже не пошатнулась и, казалось, не прилагала никаких усилий.

Меня окутал воздух. Я прежде не бывал в городе так поздно, хоть и смотрел на него сверху вниз бесчисленное множество раз. И уличные фонари я раньше видел либо погашенными, либо едва разгорающимися, либо пылающими, но так далеко, что они казались лишь слабым мерцанием, будто попки фосфоресцирующих насекомых. Теперь, как только Сэмма поставила меня на ноги, я ринулся к ближайшему фонарю и уставился влажными глазами на нить накала, словно паломник в святилище.

Где-то в генераторной зоне на другом склоне невидимые турбины вращались, чтобы создать этот свет, заменивший луну, на фоне которого овраг казался непроглядно черным. Дома, тянувшиеся с одной стороны моста над этой темной пустотой, и перила – с другой, сходились вдалеке передо мной на втором холме, в более тускло освещенном квартале, где когда-то выросла моя мать.

– Мотылек, – нежно произнесла Сэмма. – Если б ты мог, то взлетел бы прямо к проводам и погиб.

– Знаешь, что происходит, когда ты умираешь? – спросил Дроб. – Знаешь что-нибудь о церкви?

Я вновь побежал вперед, ничего не слыша за собственными шагами. Сэмма схватила меня и удерживала крепко, словно упряжь, но я все еще чувствовал, будто бегу в южную часть города или будто сама ночь замерла, чтобы приостановить мое расследование.

Неужели передо мной шла мама? Даже когда она рассказывала о своей прежней жизни, я не слышал в ее голосе ностальгических ноток и не представлял, что одна только смерть в силах это изменить. Но если мама избрала путь призрака, то, возможно, у нее не было выбора, кроме как пройти по знакомым разрушенным окраинам, не отбрасывая тени и распугивая кошек. Миновать их тайники в основании стен и под повозками, которые так долго стояли без колес, что уже выросли в пейзаж. С мыслями о маме вернулся страх, заглушив даже мое внезапное ночное ликование, так что я наградил ее бесполым деревянным лицом из мусорной кучи. Ею она и унесла по узким улочкам в теневой мир.

Разруха не была всецелой. Ни одну из частей города нельзя было назвать полностью прогнившей или заваленной пластиком так, что дышать нечем, или залитой сточными водами и промышленными отходами. Но мама-то всегда стремилась жить в замках и грубых крепостях, и именно там я ее себе и представлял.

Повторяя чьи-то слова, Дроб сказал, мол, кто-то придет, чтобы найти чужаков и тех, кто родился от чужаков.

– Для такого всегда кого-нибудь посылают, – сказал он. – Правда всплыла, и теперь кто-то придет.

Я его не понимал. Кажется, я озвучил свои мысли о голове со свалки, что, в свою очередь, подтолкнуло Дроба обрушить на меня эту искаженную информацию.

– Я говорю о том же, – уверял он. – Я знаю эту голову. Из мусорного дома? Она с тех самых времен, когда появились учетчики... они боялись машин и разобрали их на куски. Некоторые выглядели вот так.

Еще до нашего рождения появились слухи о далеком восстании. Точнее, о приказе уничтожить, безрадостно расчленив все подобные механические создания. То была лишь одна из череды катастроф, пришедших к нам из маленького прибрежного города, который сам поддался тревоге, как свойственно всем, заразившись от чужой необъятной страны.

Позже я понял, что голова куклы, которую я отдал своей мертвой матери, должна была остаться единственным воспоминанием о механических телах, непризнанным мемориалом их творцу, в то время как прочие детали канули в небытие.

– Самые первые, – продолжил Дроб. Рассказывая все это, он пытался заставить меня смотреть на него. – Механические. Потом начались проблемы с поездами. И произошла война. Две войны! Одна внутри, другая снаружи.

Сэмма глядела на него настороженно. Кто ему все это поведал?

– Много лет назад. И закончилось все тем, что людей отправили провести учет, подсчитать чужаков. Как твой отец. Ты меня слышишь?

Я словно только что вновь все это услышал. И теперь удивляюсь, сколь многое из сказанного Дробом помню. Тогда я не думал об убийце, все мои мысли занимала убитая. Я пытался удержать ее ускользающую руку.

– Твоя мама уже на небесах, – сказал Дроб.

Я уставился вниз на брусчатку. Он говорил это из любезности.

\* \* \*

Завтракали мы прямо из котла скрученными жесткими листьями. Пока я доедал остатки холодного тушеного мяса, меня нашли городские



служащие.

Охотник шагнул в комнату и медленно прошел в мой угол сквозь пыль и свет. Он тяжело пробирался через перевернутые мебельные рамы, и дети смотрели на него разинув рты. Учительница ждала у порога.

– Итак, – начал охотник. Затем поднял пустые руки, будто хотел что-то показать – прямо как я, когда бежал вниз по склону. – Мы сходили к твоему отцу.

Кровь в венах побежала быстрее. Охотник мягко опустился на колени.

– Ты уверен в том, что видел?

– Эй, – окликнул его Дроб. Он ел свой завтрак, стоя под самой крышей на стропилах, сгорбившись и глядя вниз, точно мелкий домашний бог. – Ты называешь его лжецом?

Охотник вскинул голову и поджал губы.

– Вот в чем дело, – начал он. Все слушали. – Мы пришли в дом твоего отца. И он сказал, что ничего такого, о чем ты говорил, не было. Погоди, мальчик, погоди!

Я не издал ни звука, но, видимо, на лице что-то отразилось. А вот Сэмма зашипела.

– Никто на тебя не злится, – продолжил охотник. – Твой отец сказал, что ты пришел, когда они с твоей матерью спорили. Он тебя заметил, но ты уже увидел ссору и убежал, а потом он пытался тебя найти, вдруг ты сильно испугался. В общем... Твоя мама сказала, что ей все это надоело, и когда твой отец вернулся с поисков, она ушла. Ушла, мальчик. Обходным путем, может, чтобы не появляться в городе.

Я изумленно таращился.

– Не знаю. Так утверждает твой отец.

Охотник внимательно следил за мной.

– Он убил ее в верхней комнате, – сказал я.

Учительница покачала головой.

– Мы проверили, – кивнул охотник. – Там нет крови, мальчик. Ты знал, что твоя мама прежде уже уезжала?

– В порт, – сказал я, – у моря. – В голове тут же возникли белые стены коридора и грязное треснувшее окошко над дверью. – Это было давно...

– Она написала письмо, – прервала учительница. – Попрощалась.

Я мог только пялиться на нее, на ее покрытое шрамами, невыразительное лицо.

– Как у тебя с чтением? – спросил охотник. – Твой отец сказал, что нашел письмо на столе. Мы его забрали. Письмо не для него. Для тебя.

ПИСЬМО ГЛАСИЛО: «Я ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ОСТАНУСЬ».

Чтобы показать его, меня отвели в школу. Прежде я там не бывал: у обитателей верховья нет денег на учебу.

Дроб замер в дверях классной комнаты, словно мой страж, а Сэмма стояла рядом со мной, наблюдая, как я шевелю губами. Охотник усадил меня за детский стол, спаянный со стулом, и вручил письмо.

Я читал: «Я должна уйти, потому что несчастна на холме. Я уйду. Наверное, ты разозлишься, но, надеюсь, хотя бы не будешь грустить. Мне грустно. Но я больше не могу здесь жить. Ухаживать за моим садом не нужно, но, если хочешь, я дарю его тебе. Тебе будет хорошо в этом доме, отец о тебе позаботится. Мне жаль, что приходится уходить, но оставаться я больше не могу. Твоя любящая мать».

\* \* \*

Учительница прочла письмо вслух. Она заметила, как я бегаю глазами по строчкам, заметила мою панику и, кажется, не поверила, что я в самом деле умею читать. Когда она закончила, заговорил охотник:

– Итак. Может, это ты и видел. Они ссорились. Потом твой отец отправился тебя искать, а мать разозлилась и ушла. Что, по-твоему, ты видел?

– Мой отец убил мою мать.

Охотник наблюдал за мной. Учительница потрясла двумя большими книгами, которые держала в руках.

– Ему разрешено противостоять обвинителю, – сказала она, но не мне. – Таков закон.

– Такому мальцу? – возразил охотник.

Оба хмуро уставились на меня.

– Это ведь почерк твоей матери? – спросила учительница.

Письмо было написано размашисто, с нажимом, с множеством загогулин. Некоторые буквы не имели начала и конца, и все они прыгали вверх-вниз от линий на бумаге.

Буквам мама учила меня по брошюрам, дешевым книгам, счетам и инструкциям к машинам. Иногда она показывала мне бухгалтерские и другие рукописные документы, невесть откуда взявшиеся и заполненные разными цветами и разными почерками. Но лишь когда учительница задала свой вопрос, я понял, что каждая часть текста была написана кем-то

другим. Или даже другими – в тех случаях, когда запись исправлялась и дополнялась, как делал я на нескольких страницах своей второй книги, которую продолжаю.

Я много раз видел, как мама что-то пишет, но никогда не видел ее почерка.

Письмо было написано на плотной бумаге бледно-голубыми чернилами. Я знал, что мама пользовалась как раз такими, но и отец тоже, когда помечал детали на эскизах своих ключей.

– Он убил ее и сбросил в яму, – прошептал я. – Он сбрасывает в яму всех, кого убивает. Иногда он убивает людей и относит их туда же.

Служащие переглянулись.

– Покажи нам, – сказал охотник. – Покажи нам яму.

ОНИ РАЗРЕШИЛИ ДРОБУ ПОЕХАТЬ СО МНОЙ, но не Сэмме. Думаю, просто боялись, что она начнет спорить, если ей что-то не понравится. Она уже набросилась на них, когда ей запретили идти со всеми, отчитала взрослых жестко и властно, немало их удивив, но и подтвердив их догадки. Они не могли знать – как и я в то время, – что Сэмма не покинет город. Будто, потеряв контакт с брусчаткой, она просто истечет кровью.

Трое служащих повели нас с Дробом на долгую прогулку. С одной стороны извивался овраг, то появляясь, то исчезая из поля зрения – время от времени его отсекала от дороги проволочная ограда, – с другой стороны вздымался крутой склон холма. Впереди шел охотник, затем учительница, следом мы с Дробом, и замыкал шествие мойщик окон, чтобы мы не сбежали. Когда мы поднялись наверх, я заплакал.

Учительница обернулась и сочувственно скривилась:

– Да, знаю. Ужасно видеть, как ссорятся родители.

– Покажи нам яму! – крикнул охотник.

Дрожа, я приблизился и показал на тропинку, по которой можно добраться к пещере, минуя мой дом.

– Где мой отец? – спросил я.

– Все будет хорошо, – ответил охотник.

Увидев зев пещеры, я замер и повернулся лицом к тропинке за нами.

– Все будет хорошо, – повторил он.

Затем тихонько переговорил с мойщиком и указал ему на тропу. Тот кивнул и зашагал по ней, а охотник вернулся ко мне.

– Не переживай, – сказал он.

Охотник первый вошел в пещеру. Потом поманил меня, и учительница

подтолкнула меня вперед. Дроб стиснул мою дрожащую ладонь, и мы вместе переступили острые камни у входа. В холодной тени ноги мои подогнулись.

– Держись за мной, – велел охотник.

И они с учительницей прошли в тень к краю мусорной ямы. Дневной свет проникал в глубь холма, но пропасть оставалась непроглядно черной. Учительница направила на нее луч фонаря. Я прижался спиной к каменной стене.

Я представлял, как мама цепляется пальцами за острые выступы. Как пытается выбраться из грязной могилы, и лицо ее все в засохшей крови, а негнущиеся, как у игрушек, руки и ноги двигаются, как палки или лапы насекомых, словно, вернувшись после смерти, ты уже не владеешь собственным телом.

– Видишь что-нибудь? – спросила учительница. Затем отступила и пожалала плечами.

– Глянь. – Охотник взял фонарик и провел лучом по отвесной стене ямы, по которой в моем воображении карабкалась моя мать с чужим лицом и плесенью в волосах. – Что это?

– Просто мох или вроде того.

Охотник прищурился и повернулся ко мне.

– Что ж... – Он казался беспомощным. – Итак. Никаких следов падения тела.

Я заставил себя идти вперед, пока не увидел белые пятна на камнях.

– Он все помыл, – сказал я. – Мама, наверное, ударилась, и тут всюду была кровь.

Отец осторожно вел по стене мокрой шваброй. И мыльный раствор стекал вниз. Внутрь холма, на второй холм: на горы мусора и трупов, разлагающихся в грязи и темноте. А на вершине, как альпинист-победитель, моя мать. Глядит на меня полными мыла глазами.

– Зачем ему мыть голые скалы? – Учительница не была жестока. Она просто не понимала меня и пыталась словами изгнать из меня ужас.

Она что-то прошептала охотнику. Тот посмотрел на меня и вдруг сел, скрестив ноги, спиной к бездне, от которой я никак не мог оторвать взгляда.

– Послушай, – произнес охотник. – Итак. У моей подруги...

– Коллеги, – прервала учительница.

– Коллеги. У нее есть книги с законами. Мы не можем карать людей по одному твоему слову. – Казалось, этот мягкий тон для него в новинку. – Ты утверждаешь, что твоя мать внизу. Да только мы не можем туда спуститься. И что теперь, опустить вниз фонарь на цепи? Но насколько глубока яма?

Сколько там изгибов по дороге? Мы ничего не увидим.

Я представлял, как этот опускающийся свет, точно падающая звезда, медленно приближается к маме...

– Это твое слово против его, – продолжил охотник. – И у нас есть письмо.

– Она его не писала, – вмешался Дроб. – Очнитесь уже!

– Его отец говорит обратное, – сказала учительница.

– А если бы он о тебе что-то сказал? – обратился ко мне охотник. – К примеру, что ты что-то украл или кого-то убил? И мы бы в ответ: «О, ну раз вы так говорите, то мы, конечно, накажем его по закону». Ведь тебе бы это не понравилось, верно? Это было бы несправедливо.

Он оглянулся через плечо на темноту.

– Она правда написала это письмо, – раздался вдруг голос моего отца.

Он стоял у входа в пещеру рядом с мойщиком окон, сверкающим лентой власти. От одного вида отца дыхание перехватило, а руки онемели. Он посмотрел прямо на меня, и я захрипел.

Дроб встал между нами – о чем я вспомнил позже и за это Дроба полюбил.

– Зачем ты его привел? – рявкнул охотник. – Я же сказал, что мы придем, когда будем готовы!

– Он хотел сам посмотреть, – ответил мойщик. – С чего мне его останавливать?

– Ох, да чтоб тебя... – Охотник покачал головой.

– Что? Ты хочешь мне что-то сказать? Так не сдерживайся.

– А разве я сдерживаюсь? Я и сказал: «да чтоб тебя».

– Письмо написала твоя мама, – произнес отец. Он обращался ко мне. – Мы ссорились.

Он часто моргал, и я чувствовал, сколь сильно он встревожен. Отец шагнул ко мне, я отшатнулся, а Дроб двинулся к нему навстречу.

– Мне с ней было хорошо, как и ей со мной, но всему приходит конец. – На отцовском лице отразилась мольба. – Мне жаль, ты не должен был этого увидеть. Я просил ее не уходить, вот что ты застал. Я просил ради нас с тобой. Ради тебя даже больше, потому что тебе нужна мать. Я знаю, знаю. Я хотел ее остановить, прости, что не смог. Но ты-то не должен уходить. Не уходи.

Похоже, он только теперь увидел стоящего на пути Дроба и прошептал ему «прочь» так резко и холодно, что тот мгновенно повиновался.

– Мне жаль, что твоя мама ушла, – продолжил отец. – Но у нас с тобой все будет хорошо, я об этом позабочусь.

\* \* \*

Осознав, что моего отца не кинут в тюрьму и меня у него не заберут, Дроб набросился на служащих с криками. Сэмма, вероятно, просто схватила бы меня и утащила куда глаза глядят, пока ее бы не отловили и не избили, все равно меня отняв. А Дроб просто вопил, что они не правы, что они ублюдки, и прочее в таком духе.

Я выбежал наружу, но мойщик окон легко меня перехватил. Охотник и учительница с книгами законов что-то тихо обсуждали с моим отцом в туннеле, я не расслышал.

Наконец охотник вышел, посмотрел на меня и быстро выпалил:

– Мы не можем просто тебя забрать. Он не делал того, о чем ты говоришь.

– Заприте его, – злился Дроб. – Когда приедет полиция, они сами спустятся и все проверят.

– Туда никто не сможет спуститься, – покачала головой учительница.

– И там никого нет, – выдавил отец. Он был так измотан, что говорил с трудом.

Я вслух напомнил о клиенте, с которым он ругался.

– Ты про Смейла? О, сынок. – Отец тут же обратился к остальным: – Смейл пришел за ключами. Он уже отправился в путь. Сбежал и решил пройти мимо моего дома. Он хотел один ключ для денег, второй – для быстрых путешествий и третий для кое-чего отвратительного, за что я не взялся, и тогда он начал кричать. Но я сделал ему ключ для путешествий, только его. И Смейл двинулся дальше. Спросите любого. Спросите его друзей. Они скажут, что он всегда мечтал уйти и наконец решился. В горах никого нет.

– Ты, – медленно протянул охотник, затем покосился на меня и сказал отцу так громко, чтобы я услышал: – Мы обязательно вернемся.

– Так вы и должны, – кивнул отец.

– Я серьезно, мать твою. Мы кого-нибудь пришлем, чтоб проверили, как ты обращаешься с мальчиком.

– Да. – Отец снова кивнул, резко, яростно. – Так и надо. Присматривайте за мной. Вы должны убедиться.

Мойщик окон пялился в небо, на убывающий свет. Ко мне подбежал Дроб.

– Я приду и заберу тебя, – прошептал он, но отошел, едва его позвала учительница.

Она и мойщик первыми пошагали по тропе. Оба всё не отрывали глаз от заходящего солнца. За ними шел Дроб, а в спину ему глядел охотник.

И именно он оборачивался на меня чаще всего. Даже чаще, чем Дроб.

НА ХОЛМЕ, ГДЕ Я РОДИЛСЯ, ЕСТЬ ЦВЕТУЩИЙ колючий куст. Больше я нигде его не встречал. Он около метра высотой, ветви растут кучно, сплетаясь в плотные цилиндры, так что заросли этих кустов похожи на ряды низких, цепляющихся за одежду столбов. Они увешаны многолетними сине-серыми ягодами, которые в красном закатном свете сияют, будто черные зрачки.

Я стоял среди столбчатых кустов, глядя в их мерзкие растительные глазки.

Отец на меня не смотрел. Он бросал камни куда попало, ожидая, когда горожане уберутся прочь. Он ждал, наблюдал за ними, не смотрел на меня и все бросал камнями по камням.

Дроб в последний раз оглянулся, и глаза и рот его округлились в ужасе. Наверное, из-за выражения моего лица. Он дернулся было ко мне, но охотник сжал его плечо – не жестко, однако лишая шансов на побег. Он что-то прошептал Дробу, и тот подал мне знак руками, вот только я не понял, что он хочет сказать.

Они скрылись, а я остался в окружении сторожевых кустов, окутанный слабым светом.

– Я не сержусь, – сказал отец.

Меня разрывало от несправедливости происходящего, а он пытался меня успокоить.

– Все будет хорошо, – мягко произнес он и шагнул ближе. – Прости за все.

Я не шелохнулся, тело будто навеки замерло. Нас с отцом разделял всего один ряд колючек. Он протянул руку.

И вот мы с ним наедине, на холодном холме, и я не в силах ничего сделать.

Я сколько мог оставался неподвижным, как будто чего-то ждал, а когда ничего не случилось, невероятно медленно выбрался из зарослей, волоча ступни по земле, но идти, кроме как к отцу, было некуда.

Я приблизился, и он улыбнулся и будто даже едва не заплакал.

– Еще раз привет, – прошептал отец.

Он не опускал руку, пока я ее не сжал.

От прикосновения к его жесткой теплой коже мне стало дурно.

– Ну же, – сказал отец. – Я покормлю тебя. Идем домой.

В ТУ ПЕРВУЮ НОЧЬ НАЕДИНЕ С ОТЦОМ Я, утратив всякую надежду, сидел на кухне.

Отец готовил, поглядывая на меня, а я ждал, безмолвный и поникший, словно пустой мешок. Казалось, из-за этой внутренней пустоты я даже не мог бояться, пока не наступила ночь. И тогда я лежал в кровати, слушая шаги поднимающегося по лестнице отца, представляя, как он подходит к моей двери – втиснутой между его и маминой комнатами – и смотрит на меня как на некую диковинку, смотрит на меня и в то же время не смотрит. Я пялился в потолок, слитый с чердачным полом. Голова кружилась. Я воображал, как отец наблюдает за мной, словно я нечто, что нужно лишить возможности двигаться.

Не помню, чтобы спал. На следующий день я был медлительным и нервным и просто не знал, что делать и чего ждать.

Отец мастерил ключи. А я?

– Пойдешь играть? – спросил он, когда снова меня кормил.

Едва на улице забрезжил серый свет, отец поставил передо мной тарелку, хотя я не мог пропихнуть в себя ни крошки.

– Я весь день работаю, – сказал он. – Это тебе на потом. Не забегай слишком далеко.

Пока отец резал металл, я открыл дверь в мамину комнату.

Никаких покрывал на каркасе кровати, никаких книг на полках и столах, явно протертых, потому что даже следов пыли вокруг контуров книг не осталось.

Я обошел наш участок по периметру. Чем заняться в подобный день?

Очень хотелось еще раз взглянуть на письмо, будто это могло помочь, но я понятия не имел, где оно.

Несколько раз за тот день отец кричал мне с крыльца дома. Не сердито, нет, просто проверял, что я поблизости. Заставлял меня отзываться.

Концом обугленной палки – специально ее для этого поджег – я оставлял на скале метки. В какой-то момент они превратились в буквы, а затем и в слова. Странно, но сейчас я не могу вспомнить, что тогда написал. Однако, написав это, я отошел и начал бросать камешки в слова в поисках особой параболы, точной траектории.

*«Если попаду, – думал я, – значит, могу уйти».*

Первые броски получились слишком широкими. Но я не оставлял попыток. Когда же один из камней взлетел и приземлился прямо на надпись, внутри меня все сжалось, будто это сами слова притянули камень.



Отец позвал меня, когда зашло солнце. Первый день миновал. Я смотрел, как расплзается темнота, слушал отцовский голос и ощущал беспрестанный холод. Прежде чем вернуться в дом, я размазал угольную надпись на скале. Сделал каменную страницу, дарованную мне холмом, нечитаемой.

Когда я уже лежал в постели, отец принес мне сладкого травяного молока и проследил, чтобы я все выпил. Я надеялся, что это яд. Отец смотрел на меня с отчаянной нежностью.

\* \* \*

Письмо я нашел за банкой на самой высокой полке на кухне. Пришлось встать на стул и на цыпочки, так что неудивительно, что оно было именно там. Я прочитал строки несколько раз, ничего не узнал и вернул на место. Иногда, когда отец уходил из дома, я снова доставал письмо.

На холме появились новые для меня звуки. Я решил, вдруг это незнакомые мне птицы. Птицы, что перекрикиваются короткими звонкими щелчками или же сильно и резво наступают на ветки, а то и вовсе их клюют. Я поднялся выше, чем когда-либо прежде, надеясь их отыскать, но разреженный холодный воздух, уродливые деревья и скальные щели отразили щелкающий звук во все стороны, так что я не смог его отследить.

Я бегал и лазил где хотел, но каждые пару часов отец высовывался из дома и звал меня по имени, пока я не отвечал, потому приходилось держаться в зоне слышимости. Мы жили на холме среди кремния, так что простора для маневра мне хватало.

Всякий раз, как я входил в соседнюю со своей комнату, от мамы там оставалось все меньше. У меня сохранилось несколько ее книг, но они были и моими тоже, по крайней мере я ими пользовался, пока она не ушла и не оставила мне их насовсем, потому, открывая их, я не чувствовал особой связи с матерью.

День сменялся днем, и вид из ее окна становился моим. Я устраивался в нише на подоконнике, как когда-то на чердаке, куда теперь не хотел подниматься. Когда по ночам дом под напором ветра кренился и скрипел, я смотрел вверх и представлял, что это мама сотрясает чердачные стены, глядя туда, где отец пролил ее кровь, а потом отмыл. Я все еще старался не воскрешать в мыслях ее лицо, и порой даже успешно, так что мать

смотрела на меня глазами отца или гниющей куклы.

Однажды, сидя перед ее окном в холодном вечернем свете, я услышал два выстрела подряд. Звук донесся откуда-то с каменных склонов.

Поначалу я не шевелился, ибо привык к выстрелам дробовиков. Однако следом раздалось резкое эхо противного треска, будто усиленный хруст сухой древесины. Я вздрогнул и прижался к стеклу, неистово глядя на стаи испуганных, как и я, птиц.

Я ждал, но больше ничего не происходило.

Я так и не вышел из дома и, когда отец привычно позвал меня от входной двери, удивил его, спустившись по лестнице за его спиной. Да и сам тоже удивился, когда обнаружил на нашем пороге двух жителей низовья: недовольную учительницу и незнакомого мне тонкого нервного мужчину с лентой временной власти на плече и револьвером в руке.

Несколько долгих секунд отец разглядывал гостей и горизонт за ними, а затем повернулся ко мне. Он был зол.

– Как поживаешь? – спросила меня учительница.

Я попятился от двери и молча кивнул.

Она шагнула в дом, а ее спутник остался за порогом, нервно потрясая оружием. Учительница изучила мои глаза и рот и спросила, в порядке ли я, не случилось ли чего. Отец наблюдал и слушал.

Уходя, она сказала ему:

– Будь осторожен.

Он закрывал дверь медленнее, чем обычно, лишь бы ею не хлопнуть.

Раскладывая по тарелкам ужин, отец поинтересовался:

– Слышал сегодня выстрел? Громкий такой?

Я кивнул.

– Давно я не слышал этого звука. – Он нахмурился. – Может, началась новая охота. – Затем открыл дверь и выглянул наружу, впуская в дом мошкарю. – Раньше я слышал стрельбу все время. Когда был на войне. В городе.

В далеком городе. Я знал.

– Кто победил? – спросил мальчик.

– Верхний город против нижнего? – после долгого молчания заговорил его отец. – Улица против улицы? Кто победил? – Он безучастно посмотрел на сына. – Победили *они*. А выстрел... Таким убивают человека.

В ту ночь я убежал.

СПАСАЯСЬ ОТ ХОЛОДА, Я НАЦЕПИЛ САМУЮ массивную свою одежду, как мог тихо спустился по лестнице и выбрался на плоский

участок перед домом, а потом и на тропу, ведущую вниз с холма. Но даже под множеством слоев с каждым шагом я дрожал все сильнее. Очень далеко, в степях, в которых я никогда не бывал и на которые редко обращал внимание, молнии беззвучно соединяли небо и землю. Моя сухая и пыльная кожа трещала, словно старая бумага.

Фонаря у меня не было, и приходилось напрягаться, чтобы разглядеть кусочек луны, но, шагая во тьме по холму, храбрым я себя отнюдь не чувствовал. Если бы я наступил на осыпь или оперся на шаткий выступ, то соскользнул бы и не смог бы удержаться. И если бы не налетел на ограждение, то так бы и катился, пока не перевалился бы через край в овраг, разбившись насмерть.

Днем на холме тебя вряд ли кто-то схватит, но даже если монстров, о которых меня расспрашивала банда с моста, не существует, то хищников после наступления темноты все равно полно – те же ночные кошки и прочие. Они могут напасть на ребенка. Койоты и пумы не сунутся в освещенный город, но в силах следить за мной по пути к нему. Я не помню, чувствовал ли страх, решимость или хоть что-нибудь, кроме холода и тоски, пока спускался.

А потом замер, услышав цоканье. Никакой зверь не приблизился, но будто стоял в темноте передо мной: оттуда, где тропа расширялась и становилась менее крутой, доносился щелкающий скрежет. Именно этот звук я принял за голос новых птиц, теперь же слышал его совсем близко. Будто нечто царапало гравий резкими гребками. Я не шевелился.

Настоящие пустынные суккуленты я видел только на картинках, и хоть однажды вообразил одного такого гуляющим по склону, но на холме их точно не росло. Зато там росли шипастые деревья и различные комковатые штуквины, рифленые, будто кто-то прошелся когтями вдоль их коры.

Они окружали темную тропу, и, вглядываясь в просветы меж шипами, где-то в зарослях я увидел человеческую фигуру.

Казалось, она приближается, будто кто-то встает из воды, огромная тень с ящиком и ружьем. Она словно наблюдала за мной и двигалась, не двигаясь.

Я закричал и побежал.

Я не знал, действительно ли увидел что-то реальное, ведь холм способен порождать кошмары, но мне было все равно. Я просто в ужасе несся прочь, не оглядываясь.

Следом вроде никто не бежал, но я не замедлился.

Когда я, содрогаясь, наконец ворвался в город, все еще стояла глубокая ночь. Людей на улицах было немного; тусклые, но различимые фигуры

попадались на перекрестках и что-то делали по хозяйству у своих домов. На меня они смотрели с любопытством, но лица разглядеть не могли, и не то чтобы в городе не было оборванцев, шастающих тут и там в запретный час. Никто меня не окликнул.

Извилистой дорогой, подальше от шума, я вернулся на мост через овраг, к любимому дому Сэммы и Дроба.

Надежда оправдалась: дверь открылась. Я замер на пороге, широко распахнув глаза и чувствуя, что мог бы выстрелить из них лучами, лишь бы что-то разглядеть. Я стоял одной ногой внутри, другой снаружи и не знал, что делать. Тогда Сэмма наконец открыла глаза и посмотрела на меня.

– О, это ты.

Она поднялась, приблизилась, сонная, рассеянная. И протянула руку и что-то прошептала так нежно, как со мной еще никогда не говорили, ни Сэмма, ни кто-то другой. Сейчас бодрствовали только мы вдвоем, и она старалась не потревожить непослушный выводок, который помогала пасти.

\* \* \*

Успокаивая тебя, она шепотом рассказала историю о том, как ты спустился с холма. Ты по-детски надеялся обрести убежище прямо там, в этих воздушных руинах, но Сэмме было виднее. Она встряхнулась, окончательно просыпаясь, и велела тебе молчать, прижав палец к губам. Она размышляла. Затем опустила руку на грудь Дроба, мгновенно вырвав его из сна, и они забормотали.

– Кто-то идет следом? – спросила тебя Сэмма.

– Кажется, кто-то был на холме.

Некоторые беспризорники наблюдали за вами со своих мест на этом безмолвном совещании. Дроб и Сэмма велели им спать, и дети притворились, будто послушались.

Сэмма высунулась наружу и изучила мост. Начал накрапывать дождик.

– Идем, – прошептала она тебе. – Идем сейчас же.

И на глазах молчаливых товарищей, к твоему ужасу, Сэмма и Дроб утащили тебя обратно в ночь. Теперь ты мог видеть очертания округи. Видеть, как угасает тьма, оголяя плечи холмов. И как сияет корона над каждым фонарем.

Проводники тебя удивили. Они двинулись налево, над арками летучих мышей, через мост. Мимо почерневших повозок, столь же безусловных на

этой земле, как любой камень. В южную половину города. Улицы задрались вверх, а тебя вели все выше. Кожа твоя намокла.

Казалось, рассвету на этой стороне приказали являться побыстрее, словно бездонная пустота улиц всасывала свет. Каких бы соглядатаев ты ни заметил, они могли оказаться беспристрастными наблюдателями от какого-нибудь альтернативного общества аскетов, потому лица их были безразличны. Бездомные, лежащие, но не спящие под листьями на кладбище, зыркали на тебя с уютных мест возле оградок, будто сдали мертвякам свои комнаты. Женщина, сидевшая в кресле у распахнутой двери в ожидании солнца, кивнула, когда Дроб и Сэмма провели тебя мимо. А ты вскрикнул, ибо из ее рта вырвались жуткие темные конечности-крючки, словно нечто цеплялось, пытаясь вырваться наружу, а ей и дела не было.

– Тише, – шикнул Дроб. – Нужно действовать быстро и тихо.

На востоке встречаются жуки размером с ладонь, и по их панцирям можно прочесть судьбу. А можно их вскипятить и жевать мертвые лапки, как это делала женщина, высасывая наркотическую кровь. Но тогда ты этого не знал.

– А теперь, – прошептала Сэмма и припала к уху Дроба.

Тот подумал немного, шепнул что-то в ответ, глаза ее расширились, и она кивнула.

Возможно, кто-то шел за тобой, скользил на краю зрения, пока город натягивал серую личину. Ты пытался не упустить ни одного наблюдателя. Дроб потащил тебя в переулок, дернув так сильно, что ты выпустил руку Сэммы. И ты рвался назад, но Дроб был слишком силен и проворен, так что она осталась посреди главной дороги, а тебя уволокли на спутанные южные улицы.

– Она нагонит нас, нагонит, – уверял Дроб, шлепая тебя по рукам, протянутым к Сэмме. – Только найдет необходимые тебе вещи. Идем со мной.

Необходимые?

Так быстро рассвело. Дроб протащил тебя через окна затхлого подвала. А оттуда, когда дождь поутих, через забор из обручей для бочек, на перекресток мимо двух здоровяков в мясницких фартуках, которые при виде вас отложили инструменты и ринулись следом, когда ты вскрикнул – включился инстинкт погони, спровоцированный вашей скоростью.

Фундамент здания густо зарос сорняками, потому ты знал, что оно мертворожденное. Вы спрятались внутри, пока люди рыскали вокруг. А когда они ушли, Дроб принялся, будто чувствовал запах пустых мест.

Утреннее небо словно усыпали пеплом. В чернеющем от дыма воздухе уже пахло соляркой.

– Сэмма принесет все, что тебе понадобится, – сказал Дроб и спешно добавил: – Эй, может, я тоже уйду.

Я уходить не хотел.

– И Сэмма? – спросил я.

– Ну, она не может, – пробормотал Дроб. – Как она просто так возьмет и уйдет?

Большой кирпичный зал без окон возвышался на покато́м фундаменте. Дроб сдвинул рифленый металлический лист и провел меня в пыльную комнату, куда через дыры в перекошенном потолке под углом лились вода и тусклый свет. Наклонный пол был весь в птичьем помете. Внизу он перетекал в сцену, стену за ней покрывали рваные полотна. Обстановка задавала тон.

– Раньше здесь был картинный дом, – сказал Дроб, и я представил, как он выглядел. – Сейчас здесь никого. Хорошо.

Он крикнул на всякий случай и не получил ответа.

– Кто здесь живет? – спросил я.

– Никто. – Дроб задумался. – Вроде как.

Изо рта шел пар. Дроб взобрался на сцену и приподнял один из холстов осторожно, будто разорванную кожу. За ней обнаружилась утепленная ватой одежда и множество других вещей.

Опустившись на колени, Дроб зарылся в чей-то тайник и без всякого удивления извлек наружу коробку с бумагами, испещренными чернилами; одни листы были идеально ровными, другие – разорванными и скомканными, некоторые строки – напечатаны, иные – написаны от руки. Дроб провел по ним пальцами. Внимательно оглядел жесткий пакет с красной окантовкой и сохранившейся печатью. Я тоже потянулся было к листам, но он велел наклониться и смотреть, не касаясь. Записи были сделаны не на моем языке, а Дроб читать не умел.

– Ладно, давай подождем, – наконец сказал он. – Скоро она явится.

– Сэмма, – добавил я.

– Сэмма, – согласился Дроб. – Или владелица этого добра.

\* \* \*

В доме была лестница, в которой не хватало ступеней, так что ты мог

лежать на животе и смотреть вниз на улицу, наблюдать, как женщина погоняет осла, запряженного в большую машину.

– Ты хотел знать, кто здесь сейчас живет? – спросил Дроб. – Странница. Я ее встречал.

– Где?

– На улицах. Она гостья. В доме я ее не видел, но она сказала, что остановилась здесь и это ее вещи. – Он указал на бумаги. – У нее был босс, но все испортилось. Он считал, что помогает ей, а сам толком ее не знал. И он не знает, что она здесь, наблюдает. Он спас ее от чего-то дурного, прошло много лет, и она вроде как была ему обязана, так она сказала. И долгое время все шло хорошо, пока кое-что не случилось, пока она не прочла все бумаги и не осознала, что все не так.

Я не поспевал за его речью и сомневаюсь, что Дроб сам понимал все, что говорит, скорее, пытался в точности повторить чужую кляузу. Кто бы здесь ни ночевал, декламировал Дроб, эта женщина пыталась кого-то найти. Не своего босса, нет, но того, кто за ним следит, кого-то с реальной властью. Чтобы передать ему доказательства преступления.

– Она могла читать инструкции. – Дроб тряхнул все еще зажатым в руке конвертом.

По его словам, этот человек с властью указывал на места, о которых Дроб пытался меня предупредить.

– В нашу сторону, – сказал Дроб. – Они идут, чтобы считать.

У меня в кармане завалялся мел, и я дал ему кусочек. Сжимая в левой руке бумагу с красной окантовкой, правой Дроб нарисовал лягушек в домах и людей с крыльями. Я нарисовал отцовские ключи, наш дом и отдельно – себя. Дождь прекратился.

– Сэмма что-нибудь придумает. Мы должны увести тебя отсюда.

Но я хотел остаться с Сэммой и Дробом в их доме на мосту.

Я проголодался, но сидел и тихонько наблюдал, как мужчины и женщины с южной стороны пьют из фляг.

– Насчет ящерицы, – вдруг зашептал Дроб, испугав меня. – Их кладут в бутылку совсем крохотными или даже еще не вылупившимися из яйца. Постоянно дают еду и воду и осторожно вытряхивают из бутылки дерьмо, и ящерица растет внутри, пока не становится слишком большой, чтобы выбраться.

Я уставился на него, но Дроб отвернулся.

– Я видел, как то же самое проделывают с рыбой. Наполни бутылку водой и брось туда малька. И слышал про такого зайца, но никогда не видел. Заяц в бутылке. – Наконец он посмотрел на меня. – Рот закрой.

Он не грубил, просто поддразнивал. Я чувствовал, как проясняется в голове.

А потом мы застыли, услышав скрежет и шелест металла, и выбежали на небольшой балкон в главной комнате. В самом ее центре, спиной к нам и лицом к сцене, стояла Сэмма с сумками в руках.

– Привет, – окликнул Дроб.

Но прежде чем она обернулась, кто-то другой крикнул: «Стоп!» И из тени вышел мужчина.

Опять мойщик окон с лентой власти. На один ужасный миг я решил, что это Сэмма его привела, но затем увидел ее ошеломленное лицо и понял, что он просто тайком за ней проследил.

За мойщиком явились еще двое: один из мясников в черном халате с кровавыми пятнами и полицейский. Настоящий полицейский с побережья.

Прежде я его не встречал. Молодой, толстый, с длинными волосами и в очках. Форма потертая, но полноценная: я разглядел официальный сигил на груди. На правом бедре висел пистолет. Сюда полицейского привел обход – настал черед нашего города.

– Вам, что ли, заняться больше нечем? – сумела выдавить Сэмма, когда мужчины приблизились.

На меня она смотрела с тоской.

– Я же говорил, – заявил мясник. – Говорил же, что видел его!

– Мальчик, – позвал мойщик окон, – ты что творишь?

– Говорил же, что если проследишь за ней, то сразу его отыщешь!

Дроб и Сэмма настаивали, чтобы я остался с ними, но полицейский нетерпеливым жестом велел мне подойти. Затем Дроб начал вопить о моем отце, о том, как ужасно возвращать меня к нему, и мойщик окон, рассердившись, ринулся за мной по лестнице. Тогда Дроб закричал, что ему уже все равно, что он сбежит, уедет и своего приятеля из дома ключника прихватит, мол, они покончили с этим городом. Он орал так громко, что Сэмма бросила вещи, которые собирала для моего побега, и поспешила его успокоить. Зная, что беспризорникам лишь милостиво позволяют занимать дома на мосту и что кое-кто может быстро позабыть о всяком снисхождении, Сэмма и угомонившийся Дроб, раздираемые внутренними протестами, все же позволили мужчинам меня увести.

\* \* \*



Школу превратили во временный штаб, и там нас поджидало еще три штатных полицейских в форме. Они что-то раздраженно бурчали друг другу, а меня игнорировали – все, кроме самого огромного. Он меня избил. Атаковал быстро и спокойно, попутно бесстрастно объясняя, мол, это наказание за неповиновение закону, который ясно дал понять, что я принадлежу отцу.

Тогда меня впервые ударил взрослый.

Мойщик окон с каждым замахом морщился. И оттого, что даже такой, как он, считал кару несправедливой, мне становилось одновременно лучше и хуже. Он не вмешивался.

Закончив, полицейский приказал мне ждать, пока он обсудит документы и планы с коллегами. Я надеялся, что придет охотник. И представлял, как он пробирается сквозь заросли в предгорьях. Я думал о нем так часто, словно охотник все время был рядом, с искорками в глазах, обещающий проведать меня по возвращении.

Отцу весточку послали только днем, и он пришел меня забрать.

Услышав шум, я испуганно поднял покрасневшие глаза и увидел в дверях школьного кабинета отца в окружении людей с лентами временной власти – незнакомых мне мужчины и женщины – и двух гостей в униформе. Отец принес хлеб. На лице его читалось беспокойство.

– Мальчик. – Он шагнул вперед, но, разглядев меня, замер и обернулся к полицейским: – Кто из вас это сделал?

Я никогда не слышал, чтобы отец так кричал. Он отшвырнул хлеб, и тот отскочил в мой угол.

– Я вас убью, если еще раз тронете моего мальчика! – вопил отец. – Я вас убью!

Полицейские ошеломленно моргнули и переглянулись.

– Это все мостовые крысы, с которыми он сбежал, – соврал мойщик окон. – Они сцепились. Мы его и пальцем не тронули.

– Расслабься, приятель, – сказал тот, кто меня избил. – Забирай своего проклятого мальчишку домой.

Отец на него оскалился. И я видел, как он берет себя в руки, чтобы повернуться ко мне уже спокойным.

– Из-за них я погубил твой завтрак, – улыбнулся он. – Достану другой. Идем. – Отец протянул руку. – Пора домой.

\* \* \*

Ставни были подняты, магазины открыты, дороги заполнены. Мужчины и женщины сметали пыль. Последние пару часов того дня отец водил меня по улицам, по битком забитой площади, и я заметил Дроба, Сэмму и остальных. Будто бы совершенно случайно они выстроились у стены в поле моего зрения. Отец тоже их увидел и равнодушным жестом велел держаться подальше.

Пока ты пялился на ребят, он крепко сжимал твою руку. А потом потащил тебя через площадь, распугивая жадных птиц.

Люди наблюдали за ним. Отец подошел к булочнице и попросил буханку хлеба, но та покачала головой:

– Хлеба нет, – и отвернулась.

За торговым оконцем виднелись горы хлеба.

Отец направился к мужчине, что жарил мясо на шампурах над большой металлической чашей, но при нашем приближении тот тоже покачал головой и вытянул руку над едой, защищая ее, будто ребенка.

Отца отказались обслуживать все торговцы. Они собирались в группы и смотрели на нас безжалостно и непреклонно – как на него, так и на меня. Не знаю, как отца, но даже сквозь боль от ударов полицейского меня уязвило их оскорбительное пренебрежение. Наверное, это означало, что мне поверили, но все равно было стыдно.

Сэмма и банда следили за мной, а я за ними. Они наблюдали, как хозяева лавок один за другим отказывали моему отцу, а все покупатели скрещивали руки и молчали, пока он не уводил меня дальше.

*«А как же я? – билась в голове мысль. – Вы можете меня забрать? Пожалуйста, позвольте мне остаться здесь».* Но закон гласил, что я принадлежу отцу, а закон в этом городе уважали и боялись.

Отец никого не смутил своими прямыми взглядами, но и сам не поник под всеобщим неодобрением.

Он оценивающе посмотрел на небо:

– Перехватишь что-нибудь дома. Там есть еда. Хорошая долгая прогулка только на пользу аппетиту.

Когда отец увел меня с площади к окраинам, мне помахал Дроб. Он казался напряженным и на вершину холма за пределами города смотрел все с тем же безмерным, неистовым пылом, но все же сумел поймать мой взгляд и, как и раньше, жестом велел ждать. Он выглядел так, будто собирался поохотиться.

\* \* \*

Мы миновали последний поворот в предгорье и оставили позади главную улицу. А я все оборачивался, лишь бы напоследок хоть мельком увидеть мост через овраг и выстроившихся на перилах ранних ловцов, готовых к первым летучим мышам. Отец опустил передо мной на колени.

– Хватит. – Он мягко сжал мою руку и заставил смотреть на него, пока под моими ногами хрустели камни, а воздух становился все тоньше. – Хватит. Дни выдались ужасные, я знаю. И знаю, что ты был напуган, не понимал, что произошло и что делать. Я тебя не виню. Я все понимаю. Но пора это прекратить. Больше никаких побегов. Никаких прятков в городе. Или где угодно еще. Хорошо? Ты меня понял?

Он вновь сжимал мою руку, пока я не ответил:

– Да.

– Отлично. Нас осталось только двое, и мы нужны друг другу. – Мы должны заботиться друг о друге, верно? Так что... Мы научимся. Больше никаких побегов. Договорились. Если ты снова сбежишь, мне придется идти тебя искать, и я буду зол и расстроен. А теперь иди ешь. Эти городские убудки...

Отец осекся. Будто я уже не слышал от беспризорников все слова, которые он мог бы произнести. Будто я не читал их прежде в книгах, которые давала мне мама.

БОЛЬШЕ Я НЕ СБЕГАЛ, ХОТЯ НЕ РАЗ ОБ ЭТОМ думал и однажды даже почти попытался.

Я снова смог зайти в верхнюю комнату.

Как только отец оставил меня одного, я быстро, чтобы не передумать, взял свечу и впервые за несколько месяцев прокрался на чердак. И пусть я дрожал, пока поднимался, но стоило войти, даже несмотря на темноту, ни страха, ни потрясения я не почувствовал. Лишь пустоту.

Охотник не соврал: кровь стерли. Как и мои рисунки, которые я считал тайной.

Комнату сотрясали сильнейшие ветра, и я частенько смотрел сквозь ночь и наполненный звуками воздух нагорья, воображая, как направляюсь прочь от холмов, но не уходил. Не могу сказать, что принял осознанное решение остаться, просто не чувствовал в себе тяги и способности отыскать собственный путь или типа того. Чертополох на ветру! Вот как я думал о себе неделями. Размышления о собственном прошлом – то еще таинство.

Отец продолжал мастерить ключи. Предположительно для себя.

Днем я бродил по округе. И не единожды слышал этот стрекочущий

зов откуда-то с крутого участка между городом и верховьем. Слышал жалобные стоны выючных животных. А однажды – даже грохот двух отчетливых специфических выстрелов.

\* \* \*

Я не могу вам внятно сказать, чего хотел от меня отец. Может, ему был нужен я сам. Он любил меня, но и маму тоже, и эта любовь не мешала мне наблюдать за ним и ждать, когда на лице его появится то самое выражение. Любовь не мешала мне гадать и удивляться.

Я не могу сказать, чего отец от меня хотел, потому что он почти ничего не просил. Теперь, когда я вернулся, ему хватало того, что я вновь пинаю камешки через ограду. Вновь исследую склон, смотрю на драки птиц и скальных крыс и охочусь на червей.

Я отнес последние мамины бумаги на обветренный чердак и частенько их там перечитывал – или пытался, так как многое было вне моего понимания. Инструкция по возведению стен; аллегория об эгоизме среди животных; описание резного ящичка, в коем вроде как находится душа человека, хранящегося в музее города, о котором я никогда не слышал.

В основном готовил отец, но иногда он заставлял меня, а сам, покрытый ключной пылью, стоял в дверях кухни и бормотал себе под нос. Он советовал, что и с чем класть в кастрюлю. Я повиновался, словно он отдавал приказы. В его компании я всегда молчал. Отец никогда не просил меня отнести мусор в пещерную яму.

Я понятия не имел, как ухаживать за садом: я наблюдал за работой матери, но вопросов не задавал. И теперь, когда чувство долга все росло, я мог лишь рыхлить ее мотыгой сухую землю, максимально похоже имитируя мамины движения. Я поглаживал умирающие бобы. Порой, переворачивая грязь, я откапывал мусор.

Однажды я спросил отца:

– Зачем я тебе?

До сих пор считаю, что то был самый отважный мой поступок. Я стоял снаружи, а отец сидел в мастерской. Я заметил его, когда копался в земле, и прежде, чем передумал, вскочил и выкрикнул вопрос в окно. Отец поднял глаза, и на миг мне показалось, что на лице его знакомое пустое выражение, но я ошибся.

– Не говори так, – прошептал он, прижимая руки к щеке и дрожащим

губам. – Не надо. Не смей.

Я ВСЕ ГАДАЛ, ЧТО СЛУЧИТСЯ, КОГДА У НАС закончится еда. У нас были мешки зернобобовых и несколько буханок горького хлеба из города, который не портится неделями. А еще в кладовой хранились сухие запасы. Я порой запирался в этой крохотной комнатке, с трех сторон окруженный полками с банками, сушеностями и соленостями и все нарастающей с каждым днем паутиной с шелухой от паучьей еды, которую отец только чудом не смахивал, когда тянулся за чем-нибудь. И вот я стоял в чулане и смотрел, как уменьшаются запасы. Я знал, что до полного опустошения полок еще далеко, но также знал, что основные продукты все же скоро закончатся и останется лишь то, чего у нас в избытке, вроде сушеных грибов, которые явно переживут все остальное. Я подумал, может, отец просто решил оставить все как есть? Если уменьшать и уменьшать количество ингредиентов при готовке, то какое-то время мы продержимся, но еда с каждым днем, с каждой неделей будет все скуднее и безвкуснее, пока не иссякнет, так что придется питаться одними грибами. На завтрак замачивать их в воде и соли, на обед обжаривать в масле, а потом масло кончится, и мы будем просто дочерна нагревать грибы в кастрюле на огне или грызть сырыми, пока и они не исчезнут и мы не умрем, один за другим, со вкусом грибов на языках. Я не мог решить: раз я мельче и ем меньше, то, лишившись грибов, умру раньше отца или, наоборот, позже? Как и не мог определиться, что хуже: первое или второе. Если отец умрет раньше, тогда я наконец – не просите меня проанализировать или объяснить эту логику – спущусь в город, попрошу нормальной еды, а не грибов, и выживу. Но потом я понял, что буду настолько слаб, что не смогу пошевелиться и все равно умру, при этом вынужденный все оставшееся время смотреть на мертвого отца.

Мы не умерли. Одним теплым утром я вошел в чулан и заморгал, увидев, что большая банка на уровне моей головы снова полна, и чечевица даже перевалилась через края, разбежавшись по пыльным полкам. А еще появились новые соленья и стопки лепешек.

Не знаю, когда или как отец заказывал еду и что за торговцы и когда ее доставляли, но в его собственном доме на вершине холма ключника явно не так чурались, как раньше. Сколько бы ни ушло денег, он снова стал хорошим.

Через несколько дней после появления чечевицы на холм поднялась бакалейщица – молодая, в каждой руке по мешку с эмблемой ее магазина. Она заметила меня в моем шпионском укрытии на выступе. Поколебалась,

но в итоге ускорила, дабы побыстрее сбыть товар.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ возвращения в верховье, затаившись в низких ветвях дерева и наблюдая за домом, я услышал, как о ствол ударил камень, и глянул вниз. Из-за скалы на меня глазел мальчишка. Он разжал ладонь, выпуская целую горсть гальки.

– Дроб, – прошептал я с надеждой, но сразу понял, что ошибся.

Этого я встречал в доме на мосту, но имени его не знал, да и теперь не спросил. Обычный мальчишка, старше меня, но младше Сэммы; он смотрел на меня внимательно и взволнованно, оставаясь за выступом, чтобы отец из дома не увидел, если вдруг выглянет в окно. Я залез на камень, за которым прятался мальчик, но к нему не поворачивался, даже когда говорил, – из тех же соображений.

Он все озирался, безмерно дивясь пейзажу. Явно впервые вышел за пределы города.

– У нас есть план, – сообщил беспризорник. – Мы тебя вытащим. Сэмма велела передать. Мы работаем над планом.

И он протянул мне, очевидно, украденные сладости.

– Это от Сэммы.

– Она придет?

Мальчишка удивленно моргнул.

– Не придет? – понял я.

Тогда я уже имел представление о том, сколь мы зависим от направленных непосредственно на нас импульсов и собственной ограниченности (даже Сэмма), но вам следует помнить, что я был очень молод. Может, думал, будто могу отринуть их силой своего желания.

– Она передала тебе сообщение. Слушай. «Некоторые говорят, что никогда не возьмут деньги твоего отца». – Беспризорник сосредоточился и повторил нараспев, наверное, так, как вдалбливала ему Сэмма: – Некоторые говорят, что никогда *невазь мутденьги* твоего отца.

Он помолчал.

– И что твоя мама не забыта. И что они думают о тебе.

– Что они обо мне думают?

– Не мешай, я потерял мысль. Погоди. «Что твоя мама не забыта. Что они думают о тебе. Помощь уже в пути, мы знаем, что делать». Мы слышали, сюда едут служащие.

Последнее он добавил от себя – я ясно услышал, когда переданное сообщение закончилось.

– Уже приехали, – сказал я. – Мне они не помогут.

– Настоящие служащие. Не балаболы с лентами.

– Ты что, забыл? Они уже здесь.

Мальчишка умолк, озабоченно копаясь в памяти.

– погоди. Ладно, тогда не они. Думаю, кто-то едет, чтобы помочь. Сэмма в курсе. Мы им расскажем о поступке твоего отца, и они сделают что-нибудь, чтобы ты мог перебраться в низовье, в наш дом. – Лицо его просветлело.

– Да кто эти «они»? Ты о... Дроб говорил, что кого-то присылают издали для проверок...

– Дроб... – Беспризорник покачал головой и отвернулся. – В смысле, может, это они и есть. Не знаю, о ком он говорил. Просто Дроб... – Мгновение тишины, и он, пожав плечами, непонимающе продолжил: – Я лишь слышал, что в город придут служаки. И я передал тебе, что у нас есть план насчет твоего отца. Сэмма сказала. Мы не позволим держать тебя здесь. Но Сэмма говорит, надо немного подождать, потому что, если заберем тебя сейчас, они тебя снова найдут, так уже было. Теперь они следят внимательно, и мы только накличем на себя беду и тебе не поможем, понимаешь?

На меня он не смотрел.

Я побрел вверх по склону. Мальчишка скрытыми тропами плелся следом.

Мы бросали камни в пенек. Я сильно уступал ему в меткости. С первой попытки беспризорник отбил сучок и расхохотался, мол, теперь пень похож на толстую сердитую птицу.

– Где Дроб? – спросил я.

Мальчишка вновь избегал моего взгляда.

– Где он?

– Пропал.

– Что?

– Он пропал. Ушел. Исчез.

Я с трудом удержался от крика:

– Куда? Куда он делся? – Пришлось говорить сквозь стиснутые зубы.

Неужели до Дроба добрался мой отец?

– Не знаю. Однажды его просто не стало. Он с кем-то проводил много времени, а потом его друг исчез.

Я на секунду подумал, что речь обо мне, но нет. Об этом «друге» мальчишка говорил настороженно.

– Дроб сказал, что его здесь больше ничто не держит. И как-то ночью ушел. Так что теперь он нигде.

– Где-то он точно есть.

Не зная, что еще добавить, мы погрузились в печальное молчание.

Наконец мой невольный собеседник глянул на небо, и я понял, что он собирается уходить.

– Сэмма говорит, – произнес он напоследок, – люди много болтают о твоём отце.

Я не шелохнулся.

– Всех злит то, что он натворил. О чем ты рассказал. А через некоторое время они уже начинают болтать о ключах, что он для них сделал. О силе ключей. Ну, вроде как ключ одной женщины меняет погоду. – Мальчишка нетерпеливо склонил голову набок. – Сэмма говорит, мы могли бы взять его... в смысле, ключ женщины. И посмотреть, на что он способен. Нет-нет, я бы не купил его, – поспешно добавил он. – Ни за что теперь не дам твоему отцу денег. Но если бы мы достали такой ключ... Ну, который меняет погоду. Или любой другой.

Он покосился на меня с опаской и пожал плечами, будто я и так все должен понять.

– В смысле, это ведь важно?

Я никогда не использовал отцовские ключи.

Мальчишка ждал, но я не хотел ничего говорить. Я не посоветовал ему спрятаться, пока я прокрадусь внутрь и найду какой-нибудь ключ. И не пообещал этой ночью оставить окно мастерской открытым, чтобы они сами поискали. Я на него даже не смотрел и о ключах не сказал ни слова. В конце концов беспризорник ушел.

Порой, когда отец гулял по холмам, я замирал в дверях его мастерской, вдыхая запах масла и металлической пыли и разглядывая какую-нибудь недоделанную заготовку в тисках.

Не знаю, когда начали возвращаться его клиенты. Сперва я их не видел, лишь слышал голоса. Мужской, а следом женский, объясняющий, какие свойства они хотят заключить в металл. А затем раздавался визг отцовских пил.

**МЫ СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ДВУХ КОЗ.** Как-то холодным утром я проснулся от их настойчивого блеяния. Прикованные к входной двери животные неистово поедали дрок и бодались друг с другом. Отец улыбнулся и сказал мне:

– Они твои.

То были две юные козочки, буйные и шумливые, и я любил их так же сильно, как боялся за них. Я шел следом, пока они жадно, с любопытством



исследовали склоны, задорно вытаптывали сорняки и обнюхивали упавшие пугала, сделанные родителями. Я пытался держать их подальше от увядающего сада, все еще надеясь вернуть его к жизни. Когда отец смотрел на коз, к моему горлу подкатывала тошнота.

– Как их зовут? – спросил он.

Я пожал плечами.

– Почему ты не дал им имен? – В голосе его слышалась грусть.

Вообще-то дал – совершенно случайные наборы букв, которые я менял каждые два-три дня и никогда не озвучивал отцу, будто тем самым мог защитить своих коз.

Они ели мертвые листья. Они ели ветвистые кусты. И паслись в заросших мхом углах возле ограды и на перепачканном мусоре, что я откопал с овощных грядок.

\* \* \*

На холме мы жили по календарю более расплывчатому, чем тот, что показали мне позже. Наши времена года – лето, пелена и зима – больше подошли бы другому месту: в горах обычно не более двух сезонов. Так что мы, наверное, пользовались наследием каких-то краев поизменчивее. В верхней комнате похолодало. После моего побега и появления коз прошло много недель – сколько точно, не знаю, – прежде чем отец убил снова. Если, конечно, он не скрыл от меня другие убийства.

Я стоял среди того, что осталось от сада, по склону скользили лучи заходящего солнца, как вдруг жалобное нытье коз перекрыл все нарастающий звук ударов. Внутренности мои свело.

Окно отцовской комнаты светилось на фоне расплывающейся тьмы. Сам он скрючился по ту сторону, цветом сливаясь с грязью на стекле. Рука его поднималась и падала с тупым, умертвляющим стуком, и я видел, как нечто вяло дергается в его захвате.

Не знаю, кто это был. Отец держал зверя за уши и снова и снова долбил им по раскуроченному полу, превращая тельце в мешок с кровью. Я наблюдал за всем с каким-то тошнотворным ужасом, но без удивления.

А еще я не прятался. Просто стоял у стекла, смотрел и поскуливал.

Когда отец окончательно изломал зверя (я не знаю, как он его поймал, не знаю, чем животное провинилось, не знаю, почему отец решил убить его в доме или было ли оно уже мертво, когда он его притащил), он

распрямился, сжимая мокрую шкуру. Уже совсем стемнело, а за спиной отца полыхал свет, превратив его для меня в черную фигуру, человека-тень, так что я не мог разглядеть выражения его лица, но легко его представил.

Конечно, отец меня видел, но внимания на меня обратил не больше, чем на что-либо другое. Наконец он вышел из комнаты, скрипнула входная дверь, и я побежал на другую сторону участка, чтобы между нами по-прежнему возвышался дом, а отец отправился в одиночестве кормить мусорную яму.

\* \* \*

Однажды во время энергичного ужина коз отец выглянул из дома, нашел меня глазами и спокойно попросил:

– Успокой их, пожалуйста. Можешь отвести их подальше?

Всякий раз, когда он обращался ко мне напрямую, я словно вращался в землю. Я побрел прочь, вцепившись в поводки, но козы заблеяли и уперлись, так что пришлось их подталкивать под внимательным взглядом отца. Я заметил кого-то в комнате за его спиной и напрягся.

Человек казался знакомым. Может, я видел его в городе, хотя в последний раз там был уже давненько. Или же он тогда подходил к водокачке, или перевозил через мост мешки с камнями для мастерских. На мгновение из-за внушительных габаритов я даже решил, что это охотник, но нет. Человек ждал, когда отец вернется к прерванной беседе. На столе между ними лежал наполовину законченный рисунок ключа.

\* \* \*

*«Ключи ждут тебя? – Я не хотел задавать отцу вопрос, но хотел, чтобы он ответил. – Ты создаешь их из ничего или нащупываешь края?»*

Он использовал металлолом. Расплющенные металлические панели, которые нагревал и с которых иногда молотком сбивал стружку. И почерневшие днища кастрюль – эти ему особенно нравились, поскольку уже были плоскими и тонкими.

Так, значит, ключи ждали, когда отец выпилит их из металлического куска-не-ключа? Я наслаждался этой мыслью, но доверять моим желаниям не стоило.

С тех пор, попадаясь мне на глаза, некоторые клиенты отца тут же изображали на лицах омерзение, дабы продемонстрировать, насколько они его не одобряют, какую сильную питают неприязнь.

\* \* \*

Одним морозным туманным утром отец наказал мне играть, не убегать далеко и ждать. А сам закинул на плечи пустые мешки, и я услышал, как звенят в его руках монеты. Он снова отправлялся в город – впервые с тех пор, как забрал меня у полицейских.

– Если кто-нибудь явится, пока меня не будет, – крикнул он через плечо, – вели обождать снаружи. Или пусть уходят.

Если отец и опасался столкнуться с презирающими его горожанами, которые тем не менее опять продавали ему еду и пользовались его мастерством, то он успешно это скрыл, как скрывал многое другое.

Я бегом взобрался по лестнице и наблюдал за ним из грязного чердачного окна. Когда отец исчез и вокруг все затихло, узел в моей груди ослаб.

\* \* \*

Это был мой первый день в одиночестве. Я отвел коз вниз по склону, и они блеяли друг на друга, и я тоже кричал, просто желая узнать, каково это. Затем они жадно щипали то, что лично мне казалось ничем. От дома мы далеко не ушли, так что, когда в полдень кто-то заколотил в дверь, я услышал.

Коренастая рыжеволосая женщина смотрела на меня настороженно, скрестив руки на груди. Когда я приблизился и сообщил, что ключника нет, она грязно выругалась и, бросив что-то на ступени, рывкнула:

– И что мне теперь делать?

Брошенный предмет отскочил в сторону. Я подождал, когда женщина умчится, затем встал на четвереньки и отыскал его. Какой-то механизм. Помню, что он напоминал сердце. Я положил его на кухонный стол, и вернувшийся через несколько часов отец, завидев это сердце, опустил на пол свои тяжелые мешки.

– Женщина принесла, – сказал я.

Отец поднял его, перевернул.  
– Просто бросила и убежала.  
– Откуда бы она его ни вытащила, – произнес он, – она хочет ключ, чтобы оно снова заработало.  
– А нельзя просто поместить его обратно? – спросил я.  
Снаружи подвывали козы, и отец мельком покосился в их сторону.  
– Можно. Но ей нужен ключ в помощь. Я в силах создать такой ключ.  
Я наблюдал, как он перебирает свои шила, напильники, плоские железки и тиски.  
Совсем скоро отец вновь отправился в город, и со временем эти походы стали обыденностью. Порой, пока его не было, опять появлялись люди вроде той женщины, и я говорил им, когда лучше вернуться. Я все еще не мог сбежать и знал это, хотя не совсем понимал почему. И осмеливался лишь спускаться все ниже по холму.

\* \* \*

Как-то вечером я обнаружил лишь одну из своих коз, хотя как всегда привязал их вместе. Я уже изучил их характеры, и пропала более отважная и драчливая. Я даже могу сказать, как ее звали в тот день.

Я поднял цепь с кожаным ошейником на конце. Он был перерезан.

Ее товарка казалась безмятежной. Она бросилась ко мне на случай, если я принес из чулана что-нибудь новенькое и необычное пожевать – я не должен был, но иногда приносил, – внимательно меня оглядела и боднула.

– Где твоя сестра? – прошептал я.

Разумеется, я подумал, что козу забрал отец, но даже тогда, в закатном свете, когда горло свело от страха за животное, мысль казалась глупой и неправильной. Я просто не мог представить, как он аккуратно цепляет ножом ошейник... не с тем пустым выражением, что я видел на его лице во время убийств.

Вернувшись в дом, я едва мог говорить, но все же выдавил слова. Реакция отца и успокоила меня, и испугала. Ярость его подтвердила, что он не причастен, но она же внушила мне еще больший страх, ибо отец гневался, пусть и не на меня.

Он снова и снова хлопал рукой по столу, и я затих и съежился, пока он на все лады костерил воров. Тот раз единственный на моей памяти, когда отец ненадолго переключился на свой первый язык – на котором я сейчас

пишу и которого тогда даже не знал. Он сквернословил и злобно зыркал.

И я видел, как он сглотнул и усмирил голос, прежде чем заговорить непосредственно со мной.

Пистолета у отца не было, так что он прихватил какие-то инструменты из мастерской и скрылся в сумерках. Пока я закрывал дверь, поднявшийся ветер успел замести в дом пыль. Я наблюдал за отцом через окно: с фонариком в одной руке и какой-то грязной пикой в другой он шел по камням, вокруг вихрился, казалось, весь песок мира, и вскоре уродливый тарабарский говор затих вдали.

Я закрыл глаза и представил наш дом без него, без меня, ну и без мамы, которая и так ушла. Вновь опустевший, лишенный звуков, человеческого шума, дом начнет все острее чувствовать погоду. Мой дом всегда знал, чего от нее ждать.

Без понятия, как долго я вот так стоял, готовясь к чему-то, но вдруг услышал треск одиночного выстрела недалеко от дома.

В голове вспыхнула куча возможностей, грудь ломило от эмоций, названия которым я не знал. Но вскоре вернулся все такой же хмурый отец, и темнота стала непроглядной.

– Она исчезла, – сказал он. – Я ее не нашел. Ты слышал. Кто-то забрал ее, и сегодня у него на ужин козлятина.

Отец ушел резать металл.

Много позднее полуночи, когда за закрытой дверью мастерской все еще кипела работа, я покинул дом и отправился в город по черному склону в третий и последний раз.

Я ПОНИМАЛ, ЧТО НЕ ДОБЕРУСЬ. И не ожидал, что уйду далеко и надолго. В этот раз я даже не оделся как следует, хотя прекрасно знал, насколько холодно. И хотя лицо мое горело на морозе, а изо рта шел пар, мне было почти жарко или не совсем жарко, но как-то так, будто между мной и воздухом не осталось границы. Я растворялся, потя и дрожа. Я шел вперед без колебаний, так как вполне отчетливо видел тропу.

Я часто спускался с холма и знал много способов спуститься. Я вспомнил тот, когда я летел по склону одинокий, рыдающий, оставивший за спиной смерть и неразбериху. Тот прежний я был сыном чужака, которому требовались мои терпение и забота.

Я замер. И в тот же миг где-то совсем рядом вскрикнул шакал, словно только и ждал, когда я остановлюсь. Я пытался понять, почему остановился.

Впереди лентой вился туман. Я все думал, почему же не иду дальше. И

на пробу поднял ногу и тут же медленно опустил ее на прежнее место.

Туман манил и в то же время отталкивал. Завеса становилась все плотнее, и мне мерещились в ней наблюдатели. Я не мог продолжить путь.

«Это его ключи?» – думал я под порывами ветра. Коленки тряслись.

«Это его ключи», – думал я. Отец выточил ключ, чтобы меня удержать?

Вдруг в дымке возникла отчетливая тень, и меня зазнобило, потому что там точно кто-то был, кто-то шел сквозь туман с ношей на плече. Я не сомневался, что это тот, кого я видел – или кто мне привиделся – здесь же в ночь моего последнего побега. Я слышал шаги и быстрое дыхание животных, и шакал снова завыл.

Туман, казалось, отступил и сменился, и явился из него не тусклый наблюдатель, каким я его помнил, а кое-кто поменьше, женщина или девушка. Она подняла руку.

Сэмма!

Я ахнул, замахал руками и выкрикнул бессловесное приветствие, как зверь, и следящие за нами звери заскулили.

На плече Сэммы висела сумка, и раз уж она поднялась так высоко, покинула город, я понял, что она не уйдет, не захочет или не сможет. Она ждала на горной тропе, зная, что я приду.

Она будто стала выше, выглядела недокормленной и гораздо старше меня. И казалось, уход от моста ее выпотрошил. Но Сэмма улыбнулась почти не настороженно и жестом подозвала меня к себе.

Шакала наша радостная встреча наверняка спугнула, но я так и не мог двинуться дальше, потому, решив, что Сэмме перебороть себя проще, поднял руки и поманил ее, предлагая подняться еще чуть-чуть.

\* \* \*

Еще каких-то двадцать шагов Сэмма преодолела с трудом, будто ей не хватало воздуха.

Я прошептал:

– Видишь?

Добравшись до меня, она первым делом пожала мне руку, словно мы взрослые, и это было здорово. А потом грубо обняла меня, замешкалась и обняла снова, так сильно, что я захрипел.

– Ты здесь! – промычал я ей в одежду. – Как ты поняла, где меня

искать?

– Я что-то услышала. – Говорила она вяло. – Выстрел. Прямо здесь. И подумала, что это неспроста. Подумала, что ты можешь спуститься.

Сэмма лгала. Она наверняка была здесь, когда услышала выстрел, раз поняла, откуда он донесся, а значит, ждала очень долго. Я заподозрил, что она не спала ночь за ночью, сколько смогла выдержать, чтобы ждать и надеяться меня найти. И я пришел.

Сэмма раскидала ногой камни, расстелила одеяло и усадила меня рядом с собой. Она принесла еду. Сладкие ореховые леденцы. Овощи, которые можно есть сырыми. Я все сгрыз.

Наконец я заговорил:

– Тот мальчик сказал, что Дроб пропал.

Мы перестали жевать. Сэмма не выглядела пораженной. Лишь спокойной и несчастной.

– Люди уходят, – промолвила она.

– Но почему он ушел? Он бы никогда не ушел просто так.

– Я не знаю. Он к тебе не заглядывал? Я думала, он явится за тобой. А если все-таки явился? Если пытался?

Я услышал фыркание: судя по звуку, наш голодный наблюдатель вернулся с компаньоном. Мы не испугались.

– Знаешь, – произнесла Сэмма, – может, так и есть. Может, он просто уехал.

Мальчики и девочки могут стать ворами-отшельниками. Они могут найти путь или человека, которые подтолкнут их к взрослению. Они могут противостоять врагу и исчезнуть.

– А может, это все служаки, – продолжила Сэмма. – Он все требовал, чтобы полицейские забрали твоего отца. Вдруг вместо этого они забрали самого Дроба.

– А как же его друг? – напомнил я. – Он ждал кого-то в картинном доме. Ну, кого-то кроме тебя. Кого-то не из города.

Она склонила голову.

– После того как тебя забрал отец, мы вернулись в тот зал, но там уже кто-то побывал и унес все, кроме того, что осталось у Дроба.

Я вспомнил, что Дроб держал в руке запечатанный пакет, надпись на котором мы не смогли прочесть.

– Ты знаешь всех в городе, – сказал я. – Кто это мог быть?

– Без понятия. Я никогда не видела друга... точнее, подругу Дроба. Это девушка, он ведь говорил тебе о девушке. – Сэмма помолчала. – Кто бы это ни был, когда они являются в город, они сами тебя находят, а ты их –

никогда.

Голос ее совсем сел. Она отвернулась.

– Какое-то время я не смогу приходить.

Я не ответил. Просто смотрел на нее и старался не дать губам задрожать.

Сэмма сказала, что есть и другие, о ком ей нужно думать, особенно сейчас.

– Я просто не смогу, – сказала она, как будто я спорил. – И вряд ли Дроб вернется.

А потом вручила мне нож, лезвие которого складывалось в рукоять.

– На случай, если за тобой придут.

Сэмма пронзила воздух, показывая мне удар, и рассказала пару коротких историй.

– Я хотела отдать тебе бумаги, – наконец произнесла она. – Те, что нашел Дроб.

– Зачем?

– Ты же умеешь читать? Но если они все еще были у Дроба, он, наверное, забрал их с собой.

Она заколебалась, явно сомневаясь, стоит ли продолжать, но я убедил ее рассказать мне все.

– Я видела женщину. Или девушку.

Спустя много дней после исчезновения Дроба. Спустя много дней после их последней встречи. Поздним вечером Сэмма стояла у окна своего второго любимого дома на мосту, словно надеялась разглядеть, куда ушел Дроб. И ошеломленно замерла, когда из темноты на нее вдруг уставилось лицо.

– Она походила на тень. Что-то шептала. Было трудно разобрать, но голос молодой. Думаю, она если и старше меня, то ненамного.

– Это был призрак? – спросил я.

Сэмма пожала плечами.

– Что она говорила?

– Как я уже сказала, разобрать было трудно. Сомневаюсь даже, что она смотрела на меня. – Сэмма, в свою очередь, не смотрела на меня, устремив взгляд в воспоминания. – А словно в комнату за моей спиной, на кого-то другого. Но больше никто ее не видел. Она казалась расстроенной. Думаю, она сказала: «Где Дроб? Где отмененный приказ?» А затем испарилась, и даже не знаю...

Сэмма выудила из сумки большую бутылку и протянула мне. Я едва смог удержать тяжелое зеленое стекло.



– Дроб оставил. Сначала добыл, а потом оставил. Полагаю, для тебя.

На дне бутылки лежали чешуйчатые останки и выцветшие сломанные кости животных.

Отводя глаза, Сэмма быстро и угрюмо меня обняла. Я хотел сказать ей что-нибудь, что угодно, лишь бы задержать подольше. Мне было жаль ее так же, как самого себя, и, в конце концов, я не желал оставаться на холме наедине с отцом. Но я не сумел ее остановить.

– Вернись, как только смогу, – заверила Сэмма и шагнула обратно на тропу.

Спускалась она с явным облегчением, хоть и старалась его от меня скрыть.

Ты хотел шагнуть следом за ней, но не стал или не смог. Ты смотрел, как она уходит.

Тогда ты видел Сэмму в последний раз. А позади, в холодной темноте, твоего возвращения ждали огни отцовской мастерской и бесформенная громада дома.

#### ПРИШЕЛ МУЖЧИНА.

Отец тогда спустился в город, а я был наверху, заселял стены новыми рисунками. Животные теперь выглядели иначе. Я добавил им лица и распрямился. Новенькие смотрели на улицы, где обитали их предшественники, и я перешептывался с ними со всеми. Дом дрожал под порывами ветра, за окном виднелись поваленные деревья.

Раздался стук, и я дернулся так сильно, что шею пронзило болью. Я знал, что это не отец, потому сбежал по лестнице и открыл дверь.

На кухню ворвались ветки и обрывки листьев. Я уперся ступнями в пол. Затянутое облаками небо слепило. Я взгляделся в силуэт на пороге, моргая, чтобы защитить глаза от ветра.

– Ключника нет, – сказал я. – Можете подождать снаружи, но я не знаю, надолго ли он ушел. Или можете вернуться в город, и завтра его точно застанете.

– Я пришел не к ключнику, – сообщил гость.

Его очертания стали отчетливее. Мужчина что-то держал в руках.

Кожу его покрывали глубокие борозды морщин, но не думаю, что он был намного старше моего отца. Голова сверкала лысиной, только надо лбом красовался островок коротких седых волос и такая же окантовка на затылке. Мужчина был высок и пусть не так поджар, как мой отец, но худощав и крепок. Глаза надежно скрывались за отражениями в линзах его очков. Темно-серый костюм и белую рубашку покрывала пыль. Наши

горожане галстуков не носили, потому меня озадачила полоска ткани с простым черно-синим узором.

На плече гостя висело ружье, в левой руке он держал ящик, а в правой – дощечку с зажимом для бумаг.

Он поднял голову, и я понял, что очки его состоят из нескольких сдвигающихся линз. Я никогда не видел таких устройств. Гость смотрел на меня сквозь увеличительные фасеточные стекла.

– Ключника нет дома, – повторил я.

– Я пришел не к нему, – как-то слишком воодушевленно пропел мужчина. Он говорил довольно чисто, но я слышал, что мой язык ему не родной. – То есть и к нему тоже. Он вернется, и мы встретимся. Разговор с ним – важная часть моей работы. Но я пришел, потому что его здесь нет.

Его акцент был мне знаком.

– Я пришел поговорить с тобой, – сказал гость.

\* \* \*

Я не впустил его в дом, а он и не просился. Он поставил у ног кожаный чемодан-ящик и прижал бумаги к груди. Ниже по склону вихрился темный морозный воздух, и с визгом разлетался по холму всесезонный, благо быстро тающий снег, столь привычный для этой местности. Звуки природы напоминали голоса.

– Итак, я здесь, чтобы поговорить с твоим отцом, – сказал гость. – Но не сейчас. Я должен выполнить работу, а для этого нужно задать ему вопросы. Я работаю в городе и постоянно получаю весточки о том, за чем стоит проследить. О чем стоит узнать побольше.

Он сверлил меня внимательным взглядом, пока я не опустил глаза.

Кто-то заржал, и я вздрогнул.

– Мой мул. – Мужчина махнул в сторону, откуда доносилось бляение и моей невидимой козы. – Я должен все записать. Я здесь, потому что мне нужна информация о некоторых местных горожанах. В том числе и о твоём отце – из-за того, откуда он родом. В общем, мне нужно кое-что выяснить. К примеру, чем он занимается.

– Мы не горожане, – пробормотал я.

– Весь холм считается городом.

– Я вам расскажу, чем он занимается.

– Сколько он зарабатывает, – продолжил гость. – Как долго здесь

живет. Где он родился, я знаю. В том и дело.

Я переступил с ноги на ногу.

– Что он там делал. В разное время, хорошее и не очень. Люди в городе мне много чего понарасказывали, в подробностях, но я должен услышать все от него. Он в моем списке предпоследний субъект. Его семья – последняя. – Гость склонил голову. – Значит, я должен разузнать о его детях, и я спрошу его о них. То есть о тебе. Да.

Он помолчал.

– И... я должен расспросить его о жене.

– Вы знаете, – мгновенно откликнулся я.

– О чем?

– Вы знаете, – настаивал я. – Вам рассказали. В низовье. Они вам рассказали. О моей матери.

– В низовье? Рассказали. – Мужчина не отводил взгляда, и я напрягся. – Они всякое рассказали, но я должен знать наверняка. Должен все услышать от самого ключника. И от его семьи.

– Вы знаете, что она ушла.

Я привстал на цыпочки и посмотрел мимо него на скалы внизу. Небольшая буря утихла. Обычно такие длятся считанные секунды, и если угодить в эпицентр, то снежинки на коже ощущаются ледяной пылью – настолько они мелкие и сухие.

Ружье гостя оказалось двустволкой с разными стволами. В один я мог бы запихнуть сразу два пальца, а второй был, наверное, раза в два уже.

– Нравится? – Мужчина снял оружие с плеча и протянул, чтобы я рассмотрел поближе. – Смешанное ружье. Видишь, два спусковых крючка. Это, – он постучал по большему стволу, – дробовик. Расширенные возможности.

Он прошелся по металлу рукой.

– А это, – указал на второй ствол, – винтовка. Одиночный дальний выстрел.

Гость показал мне, как прицеливается.

– Можно палить как из какого-то одного, так и из обоих стволов сразу. Винтовка стреляет прямо в центр разброса дроби. Ну, вроде как среднее значение диапазона. Это оружие усреднения.

Он снова аккуратно повесил ружье на плечо.

– Да, мне сказали, что жена твоего отца ушла, так и сказали. – Мужчина занес ручку над прищипленной к дощечке бумагой. – Можем начать. Сбережем время. Расскажи мне обо всем.

\* \* \*

И я, несколько месяцев назад примчавшийся в город, выкрикивая обвинения, теперь, когда меня попросили четко и ясно их повторить, никак не мог на это решиться. Я привык к миру, где все знали, что произошло или что я сказал, где разговоры об этом вновь превратились в невысказанные мысли, в секрет, известный всем. Вот он я, медлю с ответом. Я внял убеждениям. Чужеземцу придется потрудиться.

Он ждал, держа ручку наготове.

– Знаешь, что я делаю? Считаю людей, – сказал он. – Считаю людей и прочее. Не всех. Если начать считать всех, то никогда не остановишься, верно же? Я распределяю все по группам. Моя задача – считать только тех, кто родился там же, где и я, или чьи родители или бабушки с дедушками там родились. Затем я записываю то, что насчитал. Такая вот работа. Я начал много лет назад, когда мы решили, что должно подвести итоги. После беспорядков. Нам нужно было знать, где мы. Где мы все. Поэтому я пересчитываю всех с моей родины. Я покажу тебе, где все храню. В книгах.

– Твой отец приехал сюда давным-давно, и он под моей ответственностью. Я должен отметить о нем все подробности, понимаешь. Ты родился здесь, я знаю. Но если я пишу о нем, то должен написать что-то и о тебе. И кое-что о твоей матери. Должен разобраться в деталях. В этом городе не так много людей, пришедших оттуда же, откуда я. Но несколько есть. Одна разводит птиц. Она сказала, что есть еще человек из моих краев. Твоя семья – последняя, о ком я должен отчитаться.

\* \* \*

Я рассказал ему об отце.

О том, что он сделал не только с мамой, но и с другими – людьми и животными. Я говорил и говорил, а чужеземец стоял на усыпанном раскрошенными листьями крыльце, потому что отец запретил мне кого-либо впускать в дом.

Гость слушал. Я не видел, что он там записывает.

Понятия не имею, ломался ли мой голос под натиском надежды и отчаяния. Я не знал, когда вернется отец. Я не смотрел в сторону города и не пошел проверить, не поднимается ли он уже по склону. Я рассказал все

еще раз.

Наверное, звучало путано, и времени ушло немало. Я сидел на пороге, скрестив ноги, и говорил, а гость стоял и записывал. Дважды его мул вскрикивал, но мужчина не обращал внимания.

Своей историей я не просил о помощи, ибо знал, что мне не помогут. Я рассказывал, потому что чужак попросил, потому что ему нужна была моя история. Для его заметок.

– Откуда она пришла?

Я покачал головой. К тому моменту я уже плакал, хоть и бесшумно.

– Она местная, – сказал я. – Но уезжала жить к морю. Там они и встретились. У меня есть кое-что написанное ею. Но я не думаю, что писала правда она. Хотите посмотреть?

– Хочу.

– Я принесу.

– Ты все это говорил горожанам.

– Они сказали, что без доказательств ничего не могут сделать.

Чужеземец поднял глаза:

– Знаешь, почему твой отец сбежал именно сюда? Я вот знаю. Как думаешь, где твоя мать? – Вопрос он задал совсем тихо, не отпуская дощечки.

Горло перехватило, и ответил я не с первой попытки:

– В яме.

– В яме. Может, покажешь мне яму?

Я не отреагировал, и он окинул меня оценивающим взглядом.

– Помнишь, какую работу я должен выполнить? Помнишь, что мне нужно записать все возможное о твоей матери? Потому я должен все сам увидеть, чтобы мои сведения были точны. Покажи мне.

\* \* \*

Я отвел его к мусорной яме.

Мы обошли дом и поднялись по ухабистой дорожке между колючими кустами, в нескольких метрах от плотно растущих деревьев, мимо которых я так часто ходил и где похоронил бутылку с костями.

Оглянувшись, я увидел чалого мула на тропе. Большого, нагруженного свертками. Заметив нас, он задрал голову, поджал уши и раздраженно фыркнул.

У остроканного порога пещеры я замер и жестом указал внутрь.

Чужеземец вошел. Прошагал вперед и остановился там, где трещина расколола темноту пещеры еще более чернильной тьмой. Гость осторожно наклонился, как наклонялись до него охотник с учительницей и мои мать с отцом. Затем встал на четвереньки, вцепился ладонями в край и опустил голову в разлом. Я наблюдал за ним, крепко прижав руки к груди.

– Глубокая, – сказал я.

– Да. – Чужак не обернулся, так что голос звучал глухо, словно вяз во мраке.

– Никому не дано увидеть, что там, – сказал я. – Не увидеть, что внизу.

– Ну... – Он поднялся, повернулся и стряхнул грязь с коленей и ладоней. – Я должен убедиться, такая уж работа. Так что давай проверим.

Он быстро скрылся в том же направлении, откуда мы пришли, а я был так удивлен, что даже не испугался, оставшись в одиночестве. Я не знал, что делать, потому просто ждал, и вскоре чужеземец вернулся с сумкой.

– Среди прочего я должен пересчитывать жен, – сказал он.

Затем достал трубку из стекла или прозрачного пластика размером с рукоять молотка, что-то нажал, встряхнул ее, и она засияла. Холодным ярким светом.

Я переступил через острые камни у входа и приблизился к чужаку.

А он вытянул руку и бросил светящуюся палку в яму.

Затаив дыхание я следил, как она летит, мимоходом озаряя зубчатые стены и с грохотом отскакивая от камней, а потом начинает угасать и наконец исчезает.

Чужак выдохнул.

Потом достал фонарик, толстую веревку, карабины и скобы и застегнул на груди кожаную обвязку, тут же неуютно передернув плечами. Я наблюдал за ним с растущим возбуждением.

– Туда невозможно спуститься.

– Да, но у меня есть обязанности. – Чужак вбил скобу в скалу. – Я должен все сосчитать. Все отследить.

Он прикрепил веревку с карабинами к этому якорю и к своей сбруе.

– Не надо, – отчаянно попросил я. – Не надо.

– Знаешь, чем ты можешь помочь? Знаешь, что мне нужно? Ты должен внимательно слушать. Сумеешь? Напряги уши так сильно, как только можешь. И если кто-нибудь приблизится – крикни мне.

Чужак вручил мне еще одну трубку. Она оказалась приятной на ощупь и тяжелой. Я разглядел внутри две прозрачные, но отчетливо разделенные жидкости.

– Если услышишь шаги, сожми ее.

Я понял, что надо сломать стенку между отсеками.

– Справишься? Затем встряхни и бросай вниз.

– А если попаду в вас?

– Тогда у меня будет шишка на голове. – Он скорчил глупую рожицу.

– А если она разобьется о камни?

Чужак покачал головой и постучал трубкой по выступу, мол, смотри, какая прочная.

– Но зажжешь ее, только если что-нибудь услышишь, – напомнил он.

Я пообещал.

Чужак снял очки, протер их и, снова надев, намотал ремешок фонарика на запястье.

– Что ж, давай глянем.

Размотав веревку, он шагнул прямо в яму.

Двигался он быстро, одной рукой держась за трос, а другой и ногами умело направляя себя мимо коварных выступов и углов.

Темнота поглотила его. Я видел, как дрожит и натягивается веревка.

Видел, как свет опускается все ниже.

БОЛЬШЕ Я ЕГО НЕ СЛЫШАЛ, НО НА МГНОВЕНИЕ луч фонаря вспыхнул в глубине ямы, как-то отразился от стен и резанул меня по глазам. Но потом чужак его выключил и скрылся под выступом.

Трос загудел.

Я воображал висящую в пустоте крошечную фигурку, что опускается в огромную камеру, полную мусора. Представлял, как чужак освещает кучи фонарем.

Мне мерещились звуки шагов с тропинки. Тело сковал страх. Вдруг отец вернулся?

И я представил, как чужак прикасается к горе мертвецов – холму внутри холма, – и задумался, что сделаю, если сейчас придет отец и застанет меня у ямы. Задумался о том, что он сам сделает. По коже продрал мороз – от мысли ли о том, что отыщет внизу чужак, или от возможного столкновения с отцом, не знаю.

Если отец что-нибудь скажет, что я отвечу?

Главное не смотреть на натянутую веревку. Вообще на яму не смотреть. Но это его не обманет, он заметит трос. Глянет прямо на него, и на лице появится жуткое выражение: не спокойствие, как при убийстве, но гнев на незваного гостя и решимость не позволить чужаку отыскать ответы. А потом отец достанет из кармана нож и шагнет к веревке, чтобы ее

перерезать.

Вступлю ли я в борьбу? Если рискну, то он просто сбросит меня в пропасть, убив по-новому – не в спокойствии, а в ярости. И все же я попробую, попытаюсь перехватить нож и дать чужаку время подняться. Хватило бы смелости.

Я боялся, что не хватит.

Стоя в одиночестве, я отчаянно сжимал трубку, готовый ее зажечь, готовый бросить.

Я слышал поблизости зверей, слышал звуки холма и много раз думал, что слышу, как возвращается отец, но ошибался. Я провел в пещере несколько минут, час, больше часа, наблюдая, как снаружи меняется освещение.

А где-то под землей взбирался на горы мусора чужак. Или он копал?

Я отрешенно пялился на ползущие по стенам тени, мучимый сценами, моментами, которые не хотел представлять. Одержимый судьбой чужеземца, его расследованием под холмом. Я не хотел видеть перед глазами шепчущих и рычащих мертвецов, но они захватили мой разум. Мертвецы грудились и скользили по своему мусорному дому, будто банда убитых животных, ослепших и отупевших от тьмы и ярости, готовые наброситься на любого живого и хранящие в памяти знакомый образ.

Звуки натянутого троса – дребезжание и скрип – изменились. Он завибрировал сильнее. Чужак поднимался.

Я представил, как он взбирается вверх.

– Быстрее, – шептал я в темноту тоненьким голоском. – Кажется, мой отец близко. Я слышу всякое. Вам лучше поторопиться.

Света не было. Чужак болтался на веревке в темноте. Поднимался в темноте.

*«Он поднимается, – думал я, а потом подумал: – А если не поднимается? Если это не он поднимается?»*

Как долго они выжидали? Готовились одолеть того, кто дарует им путь к свободе, неблагодарные беглецы. Из моего горла вырывались короткие хрипы, а из расщелины струилась темнота. Трубка в моей руке задрожала.

Я знал, кто вылезет первым, впереди всей толпы. Знал, чьи изломанные пальцы и ногти зацепятся за острый край ямы, кто восстанет из-под холма и явит мне свое холодное, перепачканное могилкой и полное разочарования лицо.

**НО ТО БЫЛ ЧУЖЕЗЕМЕЦ – ЗАВИС ПОДО МНОЙ**, словно рыба под лодкой. Я разглядел его, когда он уже почти выбрался: различил по



запрокинутому лицу, бледнеющему на фоне тьмы.

Он собрал веревку, набросил на камень и нашел зацепки для рук. Просто не верилось, что он вернулся.

Наконец чужак подтянулся и рухнул на краю расщелины, пытаясь отдышаться и быстро моргая. Я не чувствовал, чтобы от него чем-то разило.

Через какое-то время он достал из кармана тряпочку и тщательно вытер руки и лицо. Затем снял очки, протер и их и уставился на меня. Одежду его покрывала подземная пыль.

Чужак сел и, передернув плечами, выбрался из обвязки. Я говорить не мог, а он не хотел. Лицо его было напряжено, на челюсти ходили желваки.

– Я слышал тебя, – наконец произнес чужеземец. – Когда поднимался. Полагаю, твой отец скоро вернется домой.

Он убрал вещи в сумку.

– Думаю, тебе лучше пока туда не соваться. – Он все еще на меня не смотрел. – Ты же знаешь, я должен выполнить работу. Я хочу поговорить с твоим отцом. Предпочтительно наедине.

\* \* \*

– Вы не сможете войти в дом, – прошептал я. – Нельзя.

– Я помню, подожду снаружи. Обещаю остаться на крыльце. – Чужеземец разглядывал зев пещеры. – Я дождусь его и попрошу разрешения войти. И если он откажет, поговорю с ним на улице. Но я хочу, чтобы ты пока остался здесь. Хорошо?

Его взгляд скользнул по яме и к темной пустоте за ней и, наконец, вернулся ко мне, к моим маленьким конечностям.

– Что ж. Тебе есть где пересидеть? Тихонько? Подальше от глаз? На всякий случай, чтобы твой отец не... – Чужак прижал палец к губам. – Нужно, чтобы ты не издавал ни звука. Но слушай внимательно, я могу позвать тебя, как только задам вопросы твоему отцу.

– Я найду, где спрятаться.

Может, на скрюченном дереве? На какой-нибудь ветке.

– Где тебя никто не увидит, – напомнил чужак. – Подальше от дома.

Его настойчивость пугала. Мне негде было затаиться в сумерках, чтобы отец не заметил наблюдения.

– Не знаю, – пробормотал я, но чужак встревожился, и я добавил: – Я

найду место.

– Отлично, – кивнул он, затем подхватил сумку и скрылся в сиянии дня.

Щурясь, я двинулся следом, но из пещеры не вышел, просто проследил, как он спускается по тропе.

Это очень походило на последние мгновения. И я безумно устал и не хотел выходить на свет.

Будь я дома, то спрятался бы в гостиной и закрыл дверь. Или забился бы в шкаф, обмотавшись старыми простынями. Но домой я пойти не мог.

Яма наблюдала за мной поверх мусора и внутренностей холма. И, несмотря на ее содержимое, я шагнул к ней ближе.

Она не была мне ни другом, ни врагом. Лишь расщелиной, полной камней и древнего хлама. Ну и кое-чего специфического. Я не стремился к тому, что внизу, но и не чувствовал необходимости от него бежать, не теперь, и пусть я боялся, но не больше чем всего остального. В тот миг, перед разговором чужака с моим отцом, я боялся ямы меньше, чем выйти на свет.

Я вновь углубился в темноту. И зашептал ей – вдруг мама услышит.

Если придет отец, то увидит меня, потянется ко мне... Я бросил камень через раскол на выступ за ним.

Я мог бы перепрыгнуть на ту сторону, если б хорошенько разбежался, но пол был неровным. Вдруг споткнусь и полечу головой в яму? Или перемахну, но завалюсь назад и все равно рухну во мрак?

В стене пещеры виднелись хорошие выемки для рук. Снаружи солнце опаляло бока холма, и где-то там отец возвращался домой к ожидавшему у двери человеку в пыльном костюме. Я не мог залезть в чулан, и поблизости не было дерева с дуплом.

Я ухватился за стену. Держаться было легче, чем прежде. И я держался, цеплялся за выбоины и выступы и шагал бочком, дрожа, но не останавливаясь и очень стараясь не думать, что подо мной яма. Я не смотрел ни назад, ни вперед. Перекидывал руки с камня на камень и переставлял свои несчастные ноги, будто мелких зверьков, на безопасные участки, чуть надавливая и проверяя, удержат ли они мой вес. Достаточно медленно, чтобы не упасть, и достаточно быстро, чтобы все поскорее закончилось.

\* \* \*

И вот я там. В темноте за пропастью.

Я оттолкнулся от каменной стены и приземлился в задней части пещеры, в пустоте за ямой, где никогда прежде не бывал. Долгое время я лежал в холодном закутке, задыхаясь и пытаясь уgomонить трясущиеся конечности.

Другая сторона. Я посмотрел туда, откуда пришел. Голова кружилась, меня распирало от гордости. Я бросил взгляд на яму, затем развернулся и двинулся в глубь холма, часто останавливаясь и давая глазам привыкнуть к теням столь плотным, что я галлюцинировал. Совсем чуть-чуть – просто видел крошечные точки света, которых там не было.

Я размышлял о королевствах и хрустальных пещерах, а туннель все тянулся и тянулся, метр за метром, как вдруг стены начали сужаться и вскоре вовсе схлопнулись. В грудь и в спину мне упирались камни, и я пытался раздвинуть их, наслаждаясь пугающим ощущением, что холм переживает, но в любой момент согнется и небрежно меня раздавит.

Так что я выбрался из его тесных объятий и сел, прижавшись спиной к холодной изогнутой стене за ямой, где отцу до меня ни за что не дотянуться. Я посмотрел туда, откуда лился свет. Так глубоко в холме даже слабое мерцание уходящего дня было подобно сиянию звезд. Я ждал.

\* \* \*

«Он пришел считать». Есть такая игра-считалка, и я шептал ее слова, когда вороны и сороки приземлялись прямо в пасть пещеры. Свет почти полностью стирал их силуэты, превращая в рваные мазки на краю тьмы, и узнавал я их лишь по голосам. Я напевал строки, которые поешь, когда метает камни.

– *Вверх* волчонком, *вниз* как мышка, *от* девчонки, *за* мальчишкой.

Я слышал отца.

Он звал меня, и я зажал рот руками.

Он кричал. Сердце сорвалось на бег, и я задрожал, потому что у входа в пещеру выросла тень, почти такая же неясная, как удирающие от нее птицы. Отец стоял, раздвинув ноги и вцепившись руками в камни над головой.

– Знаешь, что я слышал? – кричал он. – Что здесь меня ждет человек! Почему он давно не ушел с другим учетчиком? Зачем ты его впустил? Знаешь, что я слышал об этом переписчике? О том, кого ты впустил?

Знаешь, что я слышал?

Отец не заходил домой, сразу явился к яме, ко мне. Откуда он знал, где я буду, когда я и сам не знал? Я сжал губы пальцами.

– Горожане сказали, что чужак задает вопросы. Сказали, что он отправился на холм поговорить с *тобой*. Где ты? Что ты ему выболтал? Зачем он здесь, зачем сует нос не в свое дело?

Но это *его* дело. Так сказал чужеземец. Отец шагнул глубже в туннель и словно заполнил его собой, перекрыл свет.

– Ну же! – заорал он так громко, как я и вообразить не мог. – Где ты? Их отозвали! Почему же этот все еще считает? Он думает, будто знает, что я сделал? Когда именно? Или вообще?

Я молчал и не шевелился. Неподвижно сидел в непроглядной тени за расщелиной прямо перед отцом, сливаясь со стеной. На новом месте. Он шагнул к краю мусорной ямы и все равно меня не увидел.

– Он ждет меня, чтобы поговорить? Ведь так? Правильно мне сказали?

Наконец отец развернулся, и я смотрел, как он уходит, по дороге продолжая кричать.

– Что ж, я с ним поговорю! – донеслось со склона. – А ты лучше сам меня найди. Тебе тоже нужно поговорить. Со мной.

Я молчал, пока не убедился, что он не услышит, а потом повалился наземь, и сдерживаемое дыхание вылилось протяжным воем. Прошло немало времени, прежде чем дрожь унялась, и я начал шептать еще одну считалку.

СВЕТ СНАРУЖИ ПОСТЕПЕННО ТАЯЛ И ТЕПЕРЬ не размывал вход пещеры, так что я мог его разглядеть. Похоже на открытый глаз, так я решил. А потом подумал: «*Нет, скорее, на закрытый*». Неожиданно и очень отчетливо зев и правда напомнил овальную форму, которую я вижу, когда плотно закрываю глаза, а угасающее алое свечение – открытый проход куда-то или откуда-то. Тогда я зажмурился, но было слишком темно, чтобы повторить видение, которое рождает на изнанке век моя кровь под воздействием света. Впрочем, оно являлось мне так часто и рассматривал я его так тщательно, что вспомнить оказалось нетрудно.

Если я зажмурюсь сильно-сильно, до боли в висках, надолго и в ярко освещенном месте, то появится изображение с размытой кромкой, будто нечто живое и особенное, да зависнет, покачиваясь, в центре овального окна.

Ушли годы, пока образ проступил на изнанке век, и теперь, глядя на него, я представляю себя в пещере, а впереди – алый закат и валун, который

перекрывает все, кроме пылающего ободка по краю.

Открыв глаза в реальной пещере, я посмотрел на не перекрытый булыжником вход за расщелиной. По ту сторону царили сумерки. Я снова зажмурился.

А вскоре услышал шарканье и натужное дыхание.

\* \* \*

– Как ты туда попал?

Вот что спросил переписчик. Напряженно, но не без восхищения.

– Я тебя вижу, – сказал он.

Выдыхал он с шипением, ступал тяжело, а говорил отрывисто.

– Только. Не. Открывай. Глаза.

Он не шатался. Шагал медленно, обдуманно и осторожно.

– Держи глаза закрытыми. Что видишь?

– Вход в туннель, – без колебаний ответил я. – Как этот, только красный.

– Что еще?

– Парящий по центру камень.

Неправда, тогда я его видеть не мог, лишь смутные темные очертания. Будь я старше и повидай мир, меня бы посещали мимолетные подводные образы.

– Расскажи о камне. – Переписчик что-то принес. Я слышал, как груз упал на землю. – Внимательно взглядишь в свои глаза изнутри и скажи, что там видишь. Сюда не смотри. Пообещай мне это.

– Он похож на яйцо. – Я придумывал, что вижу в пещерном зеве на изнанке век. – Камень в форме яйца...

– Обещаешь?

– Обещаю.

Переписчик удовлетворенно хрюкнул и выдохнул, а следом раздался шорох – что-то тяжелое поволокли по полу.

– А теперь скажи, что ты *хотел бы* увидеть.

Это застало меня врасплох. Сказать было нечего, потому повисло молчание, на фоне которого я отчетливо слышал звуки волочения.

– Что угодно, – подсказал переписчик.

– Не знаю. Может... что угодно?

– Что угодно! А теперь погоди. Глаза не открывай. И помолчи секунду.

Он снова зашипел, и я услышал, как осыпаются мелкие камни, отскакивая от стен, и что-то тяжелое катится, скребется, задевает выступы и с треском приземляется на дно.

Последний звук сменился тишиной.

Я так и не открывал глаза. Слышал, как переписчик легонько похлопал в ладоши. Слышал его шаги по туннелю.

– Ну вот, – сказал он. – Посмотри на меня.

И я посмотрел.

\* \* \*

Он стоял на краю ямы, вытянув над ней руки и сжимая и разжимая пальцы в попытке стряхнуть с них грязь.

На меня переписчик глядел будто бы добродушно. Терпеливо.

– Как ты туда попал? Обрато можешь вернуться?

Я подошел к стене. Мешкать перед ним не хотелось, и я решил вновь перебраться через трещину, цепляясь руками за выбоины.

Переписчик потянулся и выдернул меня на свою сторону, когда я и полпути не прошел. Просто схватил и выдернул, да так быстро, что дыхание сперло, и я замер на привычной половине пещеры, глупо моргая.

Он опустил руку мне на плечо:

– Вот так.

Я много чего хотел ему сказать, много о чем спросить, но пока не мог выдать ни звука.

\* \* \*

Подступала ночь. Я смотрел мимо чужеземца на темную сторону холма, на листву и камень в закате. Раздался очередной вскрик.

– Ваш мул, – быстро сказал я, чтобы он понял: я просто удивился, не испугался.

Переписчик жестом указал на спуск с холма и поджал губы, но прежде, чем он заговорил, я выпалил:

– У меня в городе никого.

На сей раз удивился он. И взглянул на меня заботливо, с интересом.

– Кое-кто был... – Я пытался придумать, как объяснить, кто для меня

Сэмма и Дроб. Ну, по крайней мере, Сэмма на мосту скоро уже будет ловить мышей. – Одна больше ничем мне помочь не может, а второй ушел. Его зовут Дроб.

Переписчик отвел глаза, уставившись на темный склон, и будто даже дышать перестал.

И тогда я умолк, хоть и собирался поведать гораздо больше. Где бы он ни был, о бедном Дробе я больше ничего не мог сказать.

– Никого не осталось, – закончил я.

Переписчик кивнул, выдохнул и, покинув пещеру, замер у начала тропы.

– У тебя дома есть еда? – спросил он.

– Вам нельзя входить.

– Знаю. Ты спец в правилах. Я думал, что тебе не мешало бы перекусить. Так есть что-нибудь?

– Да.

– И ты мог бы... – начал он, но заблудился в размышлениях и в конце концов быстро проговорил: – Итак. Как я уже сказал, порой *возникают задачи*... цифры подсказывают, что именно нужно сделать. И моя работа эти задачи решать. У нас были беспорядки там, откуда я родом. Сражения. И мы поняли, что чем больше знаешь о собственном народе, тем лучше. Вот почему я отправился считать.

Он помолчал и осторожно продолжил:

– На меня кое-кто работал. Но она доверилась сплетням. Обо мне. И в конце концов сбежала с записями и сообщениями, которые ей не принадлежат. Теперь ее нет. Документы переоформлены. Мне нужна замена. Горожане рассказали мне о твоих родителях и о тебе. Закон в какой-то мере учитывает и кровь. Что бы ни случилось, я отмечу тебя в своих книгах, и ты станешь моей ответственностью, а книги – твоей. Ты мог бы их изучить.

Он опять умолк. А я хотел слушать дальше.

– Мне нужен стажер, – сказал переписчик. – Отправишься со мной?

И я ответил:

– Да.

ЧУЖЕЗЕМЕЦ СПУСТИЛСЯ С ХОЛМА ПО МАРШРУТУ, какого я бы никогда не выбрал. Я следовал за ним до утеса. Он показал мне огни города, и черноту другого холма за ним, и зияющий внизу овраг, и мост. Где-то светился неон, отмечая работающие допоздна места. С нашей точки обзора я не узнал район на другой стороне, как будто видел его впервые,

как будто только что для себя открыл.

– Я могу научить тебя, – сказал переписчик. – Тому, что делаю.

– Я стану учеником.

– Нет. Стажером. Я тебя подготовлю. Мы станем *коллегами*. – Я уже понимал это слово. – Если согласишься работать со мной, мы будем в одном департаменте. Я буду твоим управляющим.

– А где ваш?

Он нахмурился:

– Далеко-далеко, на родине.

– И что потом?

Переписчик не сразу ответил. Мы двинулись обратно к моему дому, и когда он появился в поле зрения, переписчик окликнул:

– Эй.

Я быстро обернулся, готовый слушать.

– Ты подаришь мне все свое внимание? – спросил он. – Работая со мной, ты будешь слышать много всего сложного, и нельзя терять концентрации. Ты справишься? И иногда может быть страшно. Сумеешь оставаться храбрым? Один *агент* – или как его там – долгое время следит за мной. – Переписчик тряхнул головой. – Пытается меня догнать, говорит всякое. Такой запросто тебя одурачит. Выдаст качественную фальшивку, используя верные слова. Я должен его опережать. Если бы кто-то наплел тебе сказочки обо мне, ты бы поверил?

Я покачал головой, осознав, что именно этого он и ждет.

– У меня есть полномочия. Вести счет. Как и у тебя.

Переписчик улыбнулся, уняв мою новую тревогу. Я жаждал вести счет, как он сказал.

– Бери что хочешь, – указал он на дом. – Что сможешь унести.

Последний взгляд через окно. Две рубашки. Книги, какие нашел. Маленький нож Сэммы, про который забыл. Я обшарил все комнаты. Несколько овсяных лепешек. Два карандаша.

В отцовской мастерской я долго пялился на стол, покрытый металлической пылью. В комнате физически ощущалось его присутствие, почти слышался голос.

Я не взял ни один из его ключей.

За рабочим столом было спрятано послание, написанное синими чернилами размашистым почерком моей матери – или не ее. Я моргнул. И забрал письмо.

На чердаке я пытался ножом срезать со стены обои с моими рисунками. Я ковырял и отдирал, надеясь унести животных с собой, но



клей держал накрепко, бумага отходила полосками, и они рвались.

Я взял ключ от дома с крючка на кухне. Когда я вышел, должно было уже совсем стемнеть, но из-под камней на склоне будто струился серый свет.

Переписчик привел своего мула, и тот с вызовом уставился мне в глаза.

– Что там у тебя?

Я начал оправдывать каждую из взятых вещей, но переписчик просто открыл передо мной короб, мол, клади.

– Моя коза! – Я рванул к ней, и она заблеяла и заскакала вокруг.

– Ты должен забрать ее с собой, – сказал переписчик, приветственно помахав козе рукой.

– Вы украли другую, – буркнул я.

Он нахмурился и покачал головой:

– Я бы не стал воровать.

– Кто тогда?

– Ворья всегда в избытке.

– Я думал, это вы. Кажется, я слышал ваши выстрелы.

– Может, я и стрелял. Но не в твою козу.

Я закрыл дверь дома. Запер его.

– Вы пришли сюда, потому что я здесь, правда? – Я уставился на ключ в своей руке. – Подождите!

Я побежал туда, где закопал бутылку. Она была слишком тяжелой, чтобы тащить с собой, но я не мог позволить останкам тлеть тут без меня. Разбить толстое стекло у меня бы не вышло, даже будь силенок побольше. Я выудил бутылку из земли, потряс, и кости забренчали.

Можно положить туда яйцо и вырастить птицу. Дроб не рассказывал, пытался ли кто-нибудь сунуть в бутылку младенца и дать ему повзрослеть. Ты бы мог. Опускал бы ему еду, учил бы его через стекло, убирал бы за ним. Хватило бы только стойкости, и ты бы вырастил мужчину или женщину в бутылке.

Я не разбил подарок Дроба, но перевернул и вытряхнул кости.

Затем опустил в бутылку ключ от дома, вновь заткнул пробкой и аккуратно спрятал в углублении среди засохшего сорняка и камней. Туда, где разбросанные кости смогут присматривать за своим бывшим обиталищем.

**ОН СКАЗАЛ:**

– Давай уберемся подальше от этого места.

Где-то на полпути между моим домом и городом переписчик вдруг щелкнул языком и свернул с тропы.

Я так удивился, что просто стоял и наблюдал за ним. Он повернулся ко мне лицом и, продолжив идти спиной вперед, дабы не отстать от мула, поманил меня к себе. Я шагнул на землю меж камней, утягивая за собой козу. Она сдвинулась, но жалобно заблеяла.

– Аккуратнее, – сказал переписчик. – Мы отправляемся куда-нибудь, где есть люди для счета.

Мул фыркнул, но, как мне показалось, счастливо.

Наползающая тьма, растения, цепляющиеся за мои рваные штаны, и наш медленный спуск одурманили меня, так что я словно погрузился в себя и оттуда наблюдал за дорогой и прислушивался к собственному телу, пока через несколько часов после наступления ночи мы не приблизились к раскидистому навесу: предгорью и лесистым окрестностям. Переписчик разбудил меня, на секунду испугав, поднял и усадил в седло между сумками. Я снова уснул, крепко и моментально.

Много позже я с рыданиями вырвался из дурного сна, за что-то цепляясь дрожащими руками. Может, встревоженный криком животных, но вряд ли.

Я понял, что мы в покрытой лесом долине. За пределами холма.

Все еще в полудреме, я смотрел на плоскую землю, которая отчего-то совсем меня не поразила и не взволновала. И не заставила полностью проснуться.

«ЭТО МОЙ КАТЕХИЗИС» – так говорится в моей второй книге. Книге начатой, конфискованной, украденной, восстановленной, которую я унаследовал, которую мой босс научил меня медленно читать, в которой не хватает потерянных отрывков, которую я перечитывал множество раз и, наконец, которую я продолжаю писать.

А поведать и осмыслить нужно еще так много. Последствия войны и торговли. Множество беглецов во столько разных мест, сколько их вообще существует. В города невидимые, беспокойные, осажденные, в города, о которых я даже не стану писать в этой части моей второй книги, которая может оказаться лишь прологом. Нужно выполнить задачу, согласно инструкциям, чем я и займусь, не выказывая неповиновения.

Управляющий редко говорит о моей предшественнице.

Отнюдь не мой катехизис вы видите на первой странице – я лишь ответил на него шестью словами в две строки и остальными записями. Это ее катехизис, ее послание, которое она хотела передать тому, кто придет

следом. Мне. Впрочем, теперь он мой. Сформулированный с неортодоксальной точностью и оставленный в начале того, что станет моей второй книгой. И я много раз представлял, как моя предшественница с приглушенным птичьим треском отбивает слова на машинке. Я пишу их от руки снова и снова.

*«Надежда Такова, Подсчитай Весь Народ. Раздели По Группам. – Напиши Отчет. Проведи Оценку. Осуществи Запросы. Тогда Достигнешь Конечной Цели Нашего Правительства».*

– МНЕ СНИЛАСЬ ЯМА, – пробормотал я и скатился с мула.

Я слышал голос переписчика и успокаивался. Он был близко, и я не боялся.

*«Мне снилась яма».* Я помню, как сказал это, но почти не помню сон, хотя до и после – до конца времен, если хотите, – этого момента от всех моих воспоминаний, пришедших из глубины холма, веяло и веет холодом и непоколебимостью. Полагаю, прокручивание прошлого иной раз превращает меня в капризного самокопателя, потому я верю, что сказал правду, но также думаю, что сон был о другом городе, а не о том, конусообразном и всеми отвергнутом. Думаю, я побывал в месте, которое начал рисовать между цветами на стене, побывал среди неуверенных угольных штрихов шумливого центра со снующими туда-сюда по всяким делам горожанами самой разной наружности. Границы этого города все ширятся, так что любой край, куда я приеду, дабы подсчитать своих разбредшихся земляков и выполнить работу, в конце концов окажется в его предместьях. А я, согласно поставленной задаче, буду искать оставленные там для меня сообщения и считать, считать.

Вдали за нами на фоне мрачного неба возвышаются холмы. У одного из них, наверное, есть холм-отражение, и между ними тянется мост. Там я родился, оттуда мы с управляющим только что спустились.

## Благодарности

За помощь в работе над книгой от всей души благодарю Марка Боулда, Мика Читхэма, Джули Крисп, Рупу ДасГупту, Марию Дахвану Хэдли, Саймона Кавана, Тесу Макват, Сюзи Никлин, Сью Пауэлл, Макса Шефера и Розы Уоррен. Спасибо всем сотрудникам «Максимилиан» и «Пикадор», особенно Нику Блейку, Роберту Кларку, Ансе Ханхэттак, Нилу Лэнгу, Рави Мирчандани и Лорен Уэлч. А также всем из «Рэндом Хаус», особенно Киту Клейтону, Пенелопе Хейнс, Дэвиду Менху, Трише Нарвани, Скотту Шэннону, Дэвиду Дж. Стивенсону, Аннетте Шляхта-Макгин, Бетси Уилсон и моему редактору Марку Тавани.

Большая часть этой истории была написана во время проживания в творческой колонии Макдауэл, Питерборо, Нью-Гэмшир; а затем при поддержке фонда Ланнана – в Марфе, штат Техас. Я глубоко признателен обеим организациям за их щедрость.

И среди множества писателей, которым я обязан, здесь хочу отдать особую дань уважения Мэри Батс, Барбаре Коминз, Джону Хоуксу, Джейн Гаскелл, Дэнису Джонсону, Анне Каван, Эдварду Сент-Обину и Ролану Топору.

# Table of Contents

[Чайна Мъевиль Переписчик](#)  
[Благодарности](#)